



Наталья Сергеевна Бондарчук

Единственные дни

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=260552
Единственные дни: АСТ, Астрель; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-062587-1, 978-5-271-25808-4*

Аннотация

«Единственные дни» – книга известной актрисы и режиссера Натальи Бондарчук, в которой она с предельной, подкупающей откровенностью рассказывает о себе и о людях, с которыми довелось жить и работать.

В книге она пишет об отце – режиссере Сергее Бондарчуке и матери – актрисе Инне Макаровой, учителе Сергее Герасимове, коллегах по актерскому цеху Василии Шукшине, Николае Бурляеве, Сергее Безрукове; режиссерах Андрее Тарковском, Ларисе Шепитько, Владимире Мотыле, о съемках своих фильмов «Бемби», «Пушкин. Последняя дуэль», «Гоголь. Ближайший».

Содержание

«Единственные дни» Натальи Бондарчук	4
Когда не было времени	5
Истоки	8
Волшебный фонарь	9
Космическое явление	10
Сибирь	11
Переделкино	12
Первая любовь	14
Ново-Дарьино	16
Баба Аня – писательница	17
Дети	19
У меня есть брат	24
Встреча	28
Встречи на Солярисе	35
Впервые на Алтае	36
ВГИК	39
Учитель	41
Встречи на Солярисе-2	44
Раннее замужество	48
Канны	52
Встреча с Бурляевым	54
Из дневника	56
Феллини и Тарковский	58
Сорренто	59
Первый фильм	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Наталья Бондарчук

Единственные дни

«Единственные дни» Натальи Бондарчук

В Московском Доме кино шла премьера фильма Андрея Тарковского «Солярис». На экране прекрасная молодая женщина Хари, созданная фантазией авторов, доказывала, что она имеет право называться Человеком.

Она – человек, потому что может любить...

И вот теперь для Натальи Бондарчук, актрисы, сыгравшей Хари, а потом много других ролей, ставшей режиссером, пришло время воспоминаний. Она взялась за трудное и ответственное дело – как свидетель былого она должна говорить «правду, только правду, ничего, кроме правды». И Наталья Сергеевна выбирает свою правду, ее правда – правда личная, семейная, творческая. Она не ставит перед собой задачу оценивать сложную и трагическую историю советского кино. Людей, о которых рассказывает автор, объединяет теперь только ее личная судьба – так глубока пропасть, разделяющая эти имена: Тарковский, Герасимов и Бондарчук. Не подчинившийся идеологии режиссер и фавориты этой идеологии... И все трое – учителя и любимые люди Натальи Бондарчук, о которых она рассказывает с присущим ей эмоциональным подъемом.

Книга Натальи Бондарчук – очень женская. Книга дочери, жены, матери. Книга человека любящего, прощающего, пристрастного, готового защитить, заслонить собой своих близких. Книга женщины, умудренной жизненным опытом.

Но мы видим здесь и другую Наталью Бондарчук, ту безрассудную девочку Наташу, которая совершает поступки по велению не разума, а сердца, не думая о последствиях. В духовной и в творческой жизни Натальи Бондарчук присутствует это «безрассудство», тут ее ничто не сдерживает. В поисках духовного идеала она, православная христианка, обращается к учению Рерихов... и строит на Алтае часовню Преподобного Сергия Радонежского. Как режиссер осуществляет свою мечту – снимает фильм о Бемби, и это после всемирно известного мультфильма Диснея! Затем – фильмы о Пушкине («Одна любовь души моей», «Пушкин. Последняя дуэль»), о Тютчеве («Любовь и правда Федора Тютчева») и теперь – «Гоголь. Ближайший»...

В наше прагматичное время, возможно, многие отнесут к безрассудству и то, что Наталья Бондарчук бескорыстно делает для детей – клубы «Бемби», детский театр, спектакли с детьми и для детей.

Андрей Тарковский говорил когда-то, что фильм – это поступок. Книга «Единственные дни» – тоже поступок.

М. Тарковская

*И целая их череда
Составилась мало-помалу,
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.*

Борис Пастернак

Когда не было времени

Вы будете смеяться, но я помню свое рождение. Помню первую кроватку из плетки... Хорошо помню нашу первую квартиру, где жила вместе с мамой, папой и бабушкой.

Родители решили назвать меня Натальей, что в переводе с древнегреческого означает «природная».

Конечно, «природная» не подозревала, что родилась у известных актеров – Инны Макаровой и Сергея Бондарчука. Родители успели к этому времени закончить Институт кинематографии и сняться у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия». Она – в роли Любки Шевцовой, он – в роли Валько.

Мама, по старинному поверью, к рождению ребенка не готовилась, и «природную» по приезде из роддома положили в чемоданчик, укутав ватой и чистыми тряпочками. Позже была куплена плетеная кроватка, и «природная» сразу отправилась в первое путешествие на балкон.

И сегодня вся моя жизнь проходит на чемоданах, в бесконечных поездках и общении с природой.

Наша семья жила в Москве на Новопесчаной улице в кирпичном доме, построенном пленными немцами. Получить отдельную однокомнатную квартиру по тому времени – началу пятидесятых годов – было почти роскошью. До этого папа и мама жили в полуподвальном помещении, тесном и мокром, где однажды по отцу даже пробежала крыса, что, впрочем, говорят, к счастью.

Я, бабушка и моя няня спали на кухне, мама и папа – в единственной комнате. Днем я царила везде, ползая по всей квартире, трогая и вытаскивая на свет все доступное рукам – особенно книги. К книгам у меня с детства развилось чувство глубокого почтения. Особенно меня привлекали две. Большая поваренная книга с красочными иллюстрациями – «О вкусной и здоровой пище». И «Божественная комедия» Данте Алигьери. Я с интересом рассматривала гравюры Дорэ, пугающие и таинственные. На многих из них люди были изображены свободно парящими в воздухе. Это парение и привлекало, и завораживало мое детское воображение – будто какая-то остаточная память о мире ином. Я и вправду помнила свои ощущения от быстрого полета куда-то вниз, к земле. Я летела вниз головой, что было не особенно приятно, и меня окружало бесчисленное множество полупрозрачных фигур. Иногда родители брали меня вечером к себе в комнату, и тогда в полутьме я видела нечто похожее над их кроватью (я совершенно не выносила темноту и засыпала только при свете настольной лампы). А еще тот, другой, мир был иным по красочности. Светоносные полупрозрачные и в то же время яркие тона, как крылья бабочки, редко присутствовали в реальном, пока еще скучноватом сереньком мире. И только в Новый год разноцветные шары и лампочки на елке напоминали тот наполненный красотой мир. А еще меня завораживали витражи. Моя любимая станция метро «Новослободская» даже подобием витражей вызывала восторг и чувство радости.

В одном итальянском документальном фильме снят будущий младенец во внутриутробном состоянии. Его глаза мелко мерцают, приборы фиксируют состояние парадоксальной фазы сна. Еще не родившийся на свет ребенок *видит* сны. «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» – вопрошает Гамлет. А если еще нет земного чувства, а ребенок видит сны?

Когда моему собственному сыну исполнилось четыре года, я не удержалась, спросила:

– Где ты был, когда тебя не было?

– Я был в океане душ, – ответил Ваня.

Заговорила я поздно. В самом раннем возрасте меня напугала одна знакомая, и родители уже начали волноваться из-за моего упорного молчания. Однажды мама несла меня на руках, переходя по мостику через речушку.

– Мама, не упави в речку вместе с Наташкой, – вдруг сказала я, и мама, тихо охнув, чуть не выпустила ребенка из рук. А я замолчала – снова надолго.

В майский погожий денек бабушка Аня повезла меня кататься на катере по Москверке. На обратном пути, заведя знакомые дома, я отчетливо произнесла: «И родимая страна вот уж издали видна». И потом уже болтала без умолку и наизусть читала сказки Пушкина.

Пушкин! Он был всегда рядом со мной, с нами. Вот подул сильный ветер, как хорошо было ему вторить:

Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч...

Папа нарисовал море и веселый парусник, а я уже радуюсь его движению:

Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.

Пушкин – чудо! Вот уже больше двух столетий дарит он нашему народу особый ритм бессмертных стихов – детям, взрослым, старикам. Работая над фильмом об Александре Сергеевиче Пушкине, я снова касалась волшебного источника жизни, из которого привыкла пить с детства.

Перед сном мне рассказывали сказки. Моя добрая любимая няня Нюра пришла без паспорта в город из глухой деревни, приютилась у нас и жила до восьми моих лет, став нам родной. Поначалу в городе все ей было чуждо, слишком сильна была ее привязанность к деревне. Запомнился ее рассказ о людях-оборотнях. Да-да, в глубинках есть еще это чудо-юдо.

«И обернулся один из них кабанчиком, другой – псом, а третий – птицей. Собирались они у большого дуба, один на ветке сидит, другой в дупло залез, а третий в корнях притаился. Друг дружку они понимают, хоть и в зверином обличье. Многие там их подмечали, а как светать станет, петух прокукарекает – так снова людьми оборачиваются и по домам расходятся».

Ну чем не «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Верил ли сам Гоголь подобным рассказам? Думаю, не только верил, но и знал многие.

Однажды увидела я над своей кроваткой склоненную няню Нюру, а рядом с ней... корову. Самую настоящую, с мокрым носом, даже запах коровий был и дыхание. Что это было? Только не сон. Видение? А может быть, я увидела ту корову, по которой тосковала моя няня Нюра?

Думаю, что детство каждого ребенка окутано плотной мантией иного бытия. Часто ребенок сам сознает себя частью сказочного мира и пробует свои колдовские штучки. Например, я была убеждена в том, что, надавливая на металлический шпингалетик на окошке трамвая, сама закрываю двери и отправляю всех пассажиров в путь. А дяденька впереди, за стеклянной перегородкой – тоже волшебник, и все мы делаем с ним вместе.

Летом, по возможности, бабушка Аня водила меня по грибы. Видимо, скучая по своей родной Сибири, она могла целый день провести в лесу, взяв с собой немного хлеба, картошки и воды. Так вот там, в лесу, я находила волшебную палочку, которая сама искала мне грибы. Я с ней внутренне беседовала, уговаривала искать хорошо и не лениться. Если грибов в корзинке было много, я не бросала палочку, а старательно пристраивала ее к самой

зеленой ветке, окутав листьями, чтобы она не горевала, что такая голая, чтобы ощутила себя, как прежде, живой. Ведь живым было все вокруг: добродушно улыбалось солнце, сверкал серебряными рожками месяц, сияли и лучились волшебные камни. Но, что самое главное, в детстве еще не было времени – были события, они просто сменяли друг друга.

Истоки

Происхождение моей бабушки, Анны Ивановны Герман, было таинственным. Ее совсем крошечной положили на порог сибирского дома. Удочерили ее Ирина Самсоновна, в девичестве Варакина, и Иван Михайлович Герман. Своих детей у них не было. Но поговаривали, и скорее всего так и было, что дочь Аннушка была настоящей, кровной дочерью Ивана Михайловича. Он был из австрийских поляков, сосланных в Сибирь, был католиком, а при венчании с Ириной Самсоновной принял православие, но сохранил европейские привычки: любил пить по утрам кофе и выписывал газеты.

Все это я выведала у взрослых гораздо позже.

Позже узнала и то, что моя бабушка, моя голубоглазая Буся с косой до пят – известная сибирская писательница, журналист, бесстрашная исследовательница горного Алтая. Работала она и литературным редактором на радио, а мой дедушка – Владимир Степанович Макаров, обладавший редким по тембру голосом, – был диктором и писателем. Публиковались его поэмы, стихи. В 1934 году он стал членом Союза писателей. Но я дедушку не знала, так как прожил он свою яркую жизнь за тридцать четыре года. Его отец, мой прадед, Степан Родионович Макаров, переселенец из Вятской губернии, отправился вместе с братом в Сибирь и жил в Мариинске. Говорят, хорошо делал гармошки и сам на них играл.

Там, в Мариинске, на высоком крыльце построенного дедушкой дома состоялось первое выступление будущей народной артистки СССР – шестилетней Инны Макаровой. Вот как она описывает это в своей книге «Благодарение»:

«Задача была одна: собрать, усадить, а потом удержать зрителя на местах любыми средствами. Стулья выносились из дома и ставились перед крыльцом, и сидели на них почти все взрослые обитатели дома. А народ у нас был театральный. О папе и маме говорить нечего – они работали в Новосибирском радиокомитете.

Давался фрагмент из пьесы “Клад”. На крыльцо я затащила огромный куст полыни, за который пряталась. Когда началось действие, одна из девочек крикнула: “Птаха, ты где?” Я из-за полыни кричала: “Ау, я здесь!” И так несколько раз, пока в первом ряду на стуле не остался один дедушка по причине безмерной своей доброты. Но лиха беда начало. Я поняла, что одним “искусством” неблагодарную публику не удержишь, нужен буфет!»

В раннем детстве мы с двоюродным братом Андрюшей Малюковым (ныне известным кинорежиссером, снявшим такие фильмы как «В зоне особого внимания», «Бабочки», «Я русский солдат», «Империя под ударом», «Спецназ») собирали землянику, делали морс, затем устраивали театральный буфет и созывали публику на наше представление. Тогда я, конечно, не подозревала, что мы в точности повторяем забавы маленькой Инны, сибирской девочки, ставшей впоследствии знаменитой актрисой.

Мой папа родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области на Украине. Дедушка – Федор Петрович Бондарчук – руководил большим колхозом в Приазовье, работал и на кожевенном заводе в Таганроге, где были свой театр и кинотеатр. Его маленького сына Сергея увлекал театр, где иногда выступал его родной дядя, а потому выпадала возможность проникнуть за кулисы.

Так увлечение театром мальчика Сергея из Украины и девочки Инны из Сибири предопределило их дальнейшую судьбу. В детстве мне казалось, что родители мои встретились, конечно, только для того, чтобы я появилась на свет.

Волшебный фонарь

Мне было года три. В Катуарах, где снимали на лето комнатку с верандой, я впервые увидела фильмы с участием Чарли Чаплина. У наших соседей была трофейная киноустановка. Почти каждый вечер собиралось человек десять, включалась волшебная лампа, и с сильным треском под музыку шли самые лучшие фильмы Чарли Чаплина.

Я хохотала от души, но один фильм, «Огни большого города», вызывал у меня неизменно самые горячие слезы. История слепой девушки и влюбленного в нее Чарли полностью завладела моим сердцем. Как я радовалась, что Чарли, притворившись миллионером, помогает девушке, делает все, чтобы она прозрела.

И вот оно, чудо: девушка вновь обретает зрение. Узнает ли она, кто был ее благодетелем? И я с замиранием сердца смотрю финал фильма – уже прозревшая девушка ощупывает лицо Чарли, дальше картинка с надписью, кто-то читает вслух: «Это вы? – Да, это я». Я плакала еще и потому, что с нами в доме жил слепой юноша семнадцати лет. Он был красив, легко вьющиеся волосы обрамляли почти детское лицо с большими карими, казалось, совершенно зрячими глазами. Ослеп он, видимо, не так давно и был беспомощен, его везде и всюду водила за руку мать. Конечно, в моей детской фантазии я так же, как и Чарли, освобождаю юношу от слепоты, но это была только моя мечта.

Как-то стремительно наступила осень и зима. Мы вновь перебрались в наш дом на Новопесчаной улице. Война закончилась, но люди еще долго помнили о ней: пели военные песни, смотрели военные фильмы.

Подвиг молодогвардейцев был еще свеж в памяти людей и артистов, сыгравших в фильме Сергея Аполлинариевича Герасимова «Молодая гвардия». Многие отождествляли артистов с персонажами, бесконечно их любили и почитали за героев. И я сама, посмотрев тяжелый для детского восприятия фильм, пролив слезы, беззаветно была предана молодогвардейцам. Я любила мою маму, Любку Шевцову, и даже нафантазировала себе, что Люба и есть моя мама.

Ведь Любка хотела стать артисткой, размышляла я, и разве могли ее, такую яркую, радостную, убить фашисты, она была ранена, потом попала в больницу, изменила имя и фамилию, стала Макаровой и родила меня. Ну, а если я родилась от героев (роль Валько играл мой отец Сергей Бондарчук), стало быть, я сама непременно должна стать героем. Потому, выходя зимой во двор, я низко, почти на глаза, нахлобучивала на себя шапку-ушанку, надевала валенки с калошами, короткую шубенку и туго затягивала на себе широкий ремень со звездой. Главное, чтобы никто не догадался, что я девочка. И когда кто-нибудь говорил мне: «Эй, пацан», – я была счастлива.

Космическое явление

Однажды мы все узнали, что умер Сталин. Не знаю уж почему, но отношение к «вождю» у меня с детских лет было негативным. А вечером того памятного дня, выйдя с няней Нюрой погулять, я увидела в небе яркую крупную звезду с хвостиком и рядом с ней такую же поменьше. Они быстро передвигались и вскоре скрылись. Долгие годы я была убеждена, что в этот день видела комету, но, понаблюдав за реальными кометами и их медленным продвижением, так и не смогла понять, с каким именно космическим явлением встретила я в день смерти Сталина. А тогда во дворе, увидев лежащего на лавке пьяного мужчину, ткнула на него пальцем и сказала Нюре недружелюбно: «Вот он, Сталин, умер, а лежит здесь...»

Нюра поспешно увела меня домой.

Вообще смерти я не боялась. В лихие же минуты, когда мне казалось, что меня сильно обижают взрослые, воображала себя мертвой: «Вот умру и все увижу, как они меня жалеть будут и плакать». И я тоже начинала реветь.

– Что ты плачешь, Ната? – спрашивала меня обеспокоенная бабушка. Я, конечно, молчала, да и что было сказать – что я плачу от того, что умерла?

– Тебе что-нибудь нужно? – не отставала бабушка.

– Да, куклу, – врала я.

В детстве не было не только времени, но и пространства. Вернее, не существовало его разграничения, и дом в Новосибирске был где-то рядом. Там же, недалеко от города, было озеро с мальками и лягушками, и все это было со мной долго-долго и после того, как мы уехали из Сибири. Мир фантазии и реальности тоже имел условные границы, ведь во сне, в книгах солнце улыбалось, а звери разговаривали.

Сибирь

Мне четыре года. И живу я теперь в доме Малюковых – у маминой сестры, тети Нины, ее мужа, дяди Игоря, и моего брата Андрея. Игорь Михайлович Малюков был художником, тетя Нина работала редактором в журнале «Сибирские огни».

В большой квартире старого дома Малюковых жила еще собака, немецкая овчарка. Запомнился в коридоре большой сундук, а на кухне – смешная сахарница с улыбающимся лицом. А еще во дворе росло огромное дерево, усыпанное ранетками, маленькими кислыми яблочками. С покатой крыши сарая можно было великолепно, с визгом, скатываться вниз.

Вскоре я, бабушка с тетей и дядей, с Андрюшкой (он старше меня на два года) переехали на стареньком грузовичке на дачу, где жарились на солнце и ловили мальков, а дядя Игорь писал свои этюды. К этому я привыкла, потому что мой папа тоже любил писать картины, и запах масляной краски мне с детства приятен.

В Сибири меня манили большие качели. Они стояли у самого леса, и, если сильно раскачаться, можно было лететь почти вровень с макушками елок – дух захватывало от таких полетов. Хозяйские дети, как и все дети, любили страшные рассказы. Как только солнышко клонилось к закату, мы, конечно, начинали пугать друг друга. На печке собирались все пятеро ребятишек, и кто-нибудь самым заунывным и тихим голосом принимался рассказывать о черном-черном гробе и белом-белом скелете, и в конце таинственного рассказа гроб раскрывался. Это произносилось очень громко, все визжали от страха, скатывались с печки и кидались вон из дома на качели. Там, немного успокоившись, начинали петь жалостными голосами «Катюшу» и снова визжали, эхом отдавался лес, страшно ухали вспугнутые совы, и вновь вся ватага бежала в дом на печку. Все бы ничего, но я была настолько мала, что не успевала вовремя слезть с печи и прибежала к ребятам как раз тогда, когда они с визгом срывались с качелей. В одиночку взобраться на печь – тоже большая проблема. Так и носилась я за детворой, не успевая вдоволь насладиться страшилками.

Однажды пошел сильный-сильный дождь, и неожиданно выглянуло солнце. Никого не спросив, мы с Андрюшкой, босые, в одних трусиках выбежали на улицу и стали отплясывать под дождем. Ах, как чудесно хлюпала грязь под ногами, какие прохладные струйки скатывались по лицу и спине... А как дышалось лесом, травой, влагой... детством.

Удивительно, как детство осторожными штрихами предопределяет будущее. Бабушка Аня рассказывала мне о своих путешествиях по Алтаю, по горным дорогам которого мне предстояло проехать на коне к таинственной и прекрасной горе Белухе. Папа, усадив на колени, рисовал мои любимые парусники, готовя меня к далеким путешествиям (я впоследствии объездила полмира, от Исландии до Новой Зеландии, Канады и Перу). А мама рассказывала мне историю о маленьком олененке Бемби, ставшую моей любимой темой в кинематографе.

А пока я знакомилась с миром моих родителей. Ох, до чего же он был разнообразным и шумным. Артисты, среди которых были Николай Рыбников, Алла Ларионова, Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Иван Переверзев и много-много других замечательных личностей, буквально с колыбели вошли в мою жизнь. А благодаря бабушке я познакомилась и с известными писателями.

Переделкино

Не имея собственной дачи, на лето бабушка вывозила меня и брата Андрюшу в Переделкино. Я навсегда полюбила это смешное название. Там мы жили на даче Лидии Сейфуллиной, известной писательницы и бабушкиной подруги. Деревянный дом окружал еловый лес, в овраге был большой малинник. А еще недалеко от нас жил замечательный и любимый дедушка, звали его Корней Иванович Чуковский. Стихи Чуковского я обожала. А его «Муху-Цокотуху», которая пошла на базар и купила самовар, знала наизусть.

Как-то папа решил сделать домашний радиоспектакль, опробовать только что купленный магнитофон. Была выбрана «Муха-Цокотуха», и мне досталась первая в жизни главная роль в папиной постановке – роль Мухи. Мне очень понравился сам процесс создания спектакля – мы по-настоящему чокались лимонадом, разлитым по бокалам, шуршали юбками, когда собирались гости, и громко топали, когда убегали от паука. Папа двумя кухонными ножами изобразил звон сабли Комара, спасающего Муху. Я была в восторге от всего этого шума и гама, но вот мы уселись, чтобы прослушать наш спектакль. И когда я услышала какие-то жалкие звуки, похожие на голос простудившейся мыши: «Дорогие гости, помогите, паука-злодея зарубите», – с ужасом поняла, что это мой собственный голос. Я разрыдалась так, что меня долго успокаивали.

Но вот он, Корней Иванович Чуковский, знаменитый автор «Мухи-Цокотухи», живет рядом и даже приглашает к себе на дачу ребяташек, чтобы посидеть с ними у костра. Но для того, чтобы получить пропуск к костру, нужно было набрать много-много шишек. С соседской девочкой Таней я насобираала целый передник шишек и принесла Чуковскому. «Дедушка Корней» утопал в ребяташках и внимательно выслушивал каждого, у него был большой нос и добрые, чуть лукавые глаза. Танюша сразу освоилась, уселась на колени к Корнею Ивановичу и стала ему рассказывать что-то про то, как Мишка свалился с кровати. Мне стало за нее стыдно, я уже понимала, что это совсем нескладно, и вовсе не стихи, но сама я читать стихи не стала, а сидела и слушала. Откуда мне было знать, что Корней Иванович в это время писал свою знаменитую книгу «От двух до пяти» и из нашей дребедени вылавливал жемчужины.

– Кто муж у стрекозы?

– Стрекозел.

– А кто такая гусеница?

– Жена гуся.

Когда у меня появился сын Ваня, то к двум его годам я вспомнила и эту книгу, и наш лепет.

– Вот видишь, Ванюша, – предлагала я рассмотреть сыну игрушечную белку, – вот что это у белочки блестящее?

– Глазки, – говорил сын.

– Правильно, а вот черный круглый?

– Носик.

– А вот сзади смотри, какой пушистый?

– Щетка! – убежденно ответил Ваня.

Идем по улице, а сынок задирает голову:

– Смотри, мама, видишь, завод облака делает.

Проезжаем мимо церкви, на которой нет крестов, Ваня обращает на это внимание и говорит рассерженно:

– Какое кашейство!

Милый, добрый Корней Иванович, сколько тогда ребячьих сердец наполнялось радостью от встреч с ним.

Однажды мы с бабушкой Аней проходили мимо одной дачи, огороженной невысоким штакетником. Баба Аня поздоровалась с работающим на своем участке человеком.

– Это кто? – поинтересовалась я.

– Это Борис Леонидович Пастернак яблоньки окучивает.

– Тоже детский писатель? – спросила я, привыкшая к тому, что живу в поселке среди писателей.

– Нет, он взрослый писатель, очень взрослый, – как-то по-особенному произнесла бабушка. – Хороший писатель и поэт, – прибавила она.

Разве могла я тогда знать, что над Борисом Леонидовичем уже сгустились черные тучи. Его исключили из Союза писателей за то, что за границей был издан его роман «Доктор Живаго».

Много позже бабушка рассказала мне по секрету, что во время собрания на стадионе в Лужниках, которое транслировалось по телевидению, Семичастный кричал в микрофон: «Вон из России!», и толпа подхватывала этот рев: «Вон из России!» Хотя, конечно, романа никто не читал. Моя мама была на этом собрании, и бабушка увидела по телевидению орущую толпу и мамино скорбное лицо и сжатые руки. Она была из тех немногих, которые не подняли свой голос против любимого поэта.

Конечно, мамин поступок, за который она могла поплатиться, погоды не сделал, но важно было не поддаться общей подлой травле.

«Промолчи, промолчи, попадешь в палачи...» Сколько раз в жизни я получала подтверждение этим строкам Александра Галича, проверяя их на других и на себе. А тогда, в далеком детстве, мы с бабушкой прошли дачу Пастернака, перешли по мосту через речку и поднялись на холм к церкви с голубыми куполами.

Этот храм любил мой отец, он приходил с этюдником и работал маслом. До сих пор у меня хранится этюд «Голубые купола Переделкинского храма». Разве я могла знать, что в девятнадцать лет, заканчивая съемки у Тарковского в «Солярисе», я захочу креститься и выберу этот храм. А пока мы с бабой Аней гуляли вдоль монастырских стен и Борис Леонидович Пастернак писал стихи у себя в Переделкине:

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник Вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

Первая любовь

В Переделкине случилось со мной чрезвычайное происшествие – я влюбилась. Раньше я влюблялась только в киногероев – например, моим кумиром был Роберт Грант в исполнении Яши Сегеля, я даже свою чахлую панамку гордо сдвигала на затылок, как это проделывал Роберт со своей соломенной шляпой. Но в Переделкине тот, в кого я влюбилась, был мальчик лет двенадцати, а мне-то только четыре. Его звали Митхат, у него были карие глаза, слегка выющиеся волосы. Главным было то, что у него был свой велосипед. Настоящий двухколесный, взрослый велосипед, он даже однажды посадил меня и провез немного на нем.

И вот тут-то все и началось... Мне казалось, что я непременно должна первая выказать свое чувство к нему. Обычно мы вместе смотрели телевизор, сидя на деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Крошечное окошечко одного из первых в моей жизни телевизоров таинственно мерцало, передавая нам историю чужой жизни, и тут я решилась. Митхат сидел рядом, взрослые на нас не смотрели, и я положила свою руку ему на плечо и замерла. Он моей руки не откинул, и я поняла, что моя любовь не была безответной. На следующий вечер мы с бабой Аней шли пешком от станции через поле, над нами сияли звезды, и я призналась.

– Баба Аня, знаешь, я должна тебе раскрыть страшную тайну, только никому, слово?

– Слово, – пообещала бабушка.

– Я женюсь! – выпалила я.

– Наверное, все-таки выходишь замуж, – спокойно поправила меня бабушка. – А кто жених? За кого замуж собралась?

– За Митхата. Мы поженимся, и у нас будет много-много детей.

– А он что, тоже хочет жениться? – спросила бабушка. Этого я не знала и замолчала. Бабушка поняла, как всё-то у меня непросто складывается, и начала рассказывать про себя.

– Знаешь, Ната, я в твоём возрасте тоже влюбилась, в одну красивую пятилетнюю татарочку.

– Так она же девочка? – удивилась я.

– Ну и что ж, я тогда еще не вполне различала разницу между девочками и мальчиками. Я решила на ней жениться и сообщила об этом своей маме, а та мне объяснила: «Видишь на ней монисты?»

– Монисты – это что? – спросила я.

– Это такое красивое украшение, ожерелье из монеток. Так вот: «Она просватана», – сообщила мне мама.

– Просватана – это как?

– У нее уже есть жених, их обручили родители, как только они родились, и подарили в знак этого события монисты маленькой невесте. Так что свадьба моя расстроилась.

– А у меня монисты есть? – забеспокоилась я.

– У тебя нет, у нас, русских людей, это не принято.

Больше мы об этом не говорили, но от бабушкиного рассказа во мне возникло легкое сомнение в близости свадьбы.

Как только мой сын Ваня достиг четырехлетнего возраста, он тоже влюбился в свою воспитательницу детского сада, которой было лет тридцать.

– Мама, можно мне ей об этом сказать? – спросил он.

– Не знаю, Ванюша, может быть, – уклончиво ответила я.

– Я уже сказал, – выдал мне свою сердечную тайну сын.

– А она? – заинтересовалась я.

– Она мне ничего не ответила, – вздохнул Ваня.

Я подумала про себя: странная женщина, ей ребенок в любви признается, а она с ним не разговаривает. Ваня, словно услышав мои мысли, поднял на меня глаза и добавил:
– Ведь я ей сказал про себя, а не вслух.

Ново-Дарьино

К шести моим годам родителям выделили участок в поселке Ново-Дарьино. Как только мы прибыли на участок, я тут же собрала мелкий хворост и шишки для будущего самовара. Средств на дом не было, и пока на лето построили временку из горбыля. В ней мы и жили с бабушкой, готовили на керосинке «щи да кашу – пищу нашу».

Двор участка был не огорожен, и к нам часто заходили разные люди собирать грибы. Однажды, когда мы улеглись спать, бабушка меня разбудила.

«Вставай, вставай, Ната, к нам гости пожаловали». Какие, думаю, гости ночью. Смотрю, а в дверь временки просунулась большая лосиная морда. Лосиха, содрав кору с яблонь колхозного сада, привела с собой на подкорм к нам трех лосят, и мы с бабушкой кормили их кашей из кастрюльки.

Как только был поставлен маленький домик, к нам из Сибири приехали тетя Нина, дядя Игорь и мой брат Андрюша. Он мечтал быть клоуном, и мы с ним затеяли театр, вернее – представление.

Ходили в гости по соседям и выступали. Программа была разнообразная. Вначале мы показывали сложный цирковой номер – пирамиду. Андрюшка вставал на одно колено, а на другое его колено я опиралась одной ногой и широко раскидывала руки – зрители аплодировали и почему-то смеялись.

Мы кланялись. Потом композиция менялась и я, опираясь на Андрюшку, высоко поднимала ногу – это была ласточка, – и все проходило хорошо, если с ноги не падал сандалик.

Дальше в нашей программе были фокусы. С огромным успехом я показывала один фокус, которому меня научил папа. У хозяев дачи, где мы выступали, брался стаканчик. На глазах у всех присутствующих я накрывала его газетным листом, и бумага принимала его форму. Кто-нибудь должен был проверить стаканчик, постучав по нему карандашом до звона. Затем я произносила заклинание, во время которого возила стаканчик кругами по столу, и, наконец, хлопала по стаканчику рукой, и он исчезал, оставалась только одна бумага. Аплодисменты, восторги. После обязательного угощения артистов я торжественно возвращала целый и невредимый стаканчик хозяевам.

Андрюшка понимал, что фокус пользуется огромным успехом, и, конечно, знал, что, улучив момент, я незаметно скидывала стаканчик себе в юбку, а бумага продолжала поддерживать форму, хлоп – и нет стаканчика. И вот в одном доме он решил сам показать этот фокус и потребовал стакан. Все хорошо, но вот он – момент незаметного скидывания стакана в юбку, а юбки-то у Андрюшки не было, были штанишки, и – бац... Стакан на полу, пришлось извиняться перед хозяевами за порчу посуды, больше Андрюшка на мои фокусы не покушался. Зато показывать клоуна – в этом равных ему не было...

Через несколько лет Андрей Малюков станет известным кинорежиссером, снимет фильм «Тридцать четвертый скорый». Главным героем фильма будет старый полуослепший клоун, его блестяще сыграет Лев Дуров. Так Андрюшкин клоун получит новое воплощение. Исполнилась твоя мечта, братишка!

Баба Аня – писательница

Итак, с самого раннего детства я знала, что моя бабушка Аня – писательница. Она вставала рано-рано, еще до зари, пила чай вприкуску с двумя кусочками сахара, и садилась за свою трофейную пишущую машинку, в которой немецкий шрифт был переделан на русский, и усердно печатала свои рассказы и очерки. Утро было ее: все еще спали, а она работала.

Правда, в детстве я не знала, что бабушкины листки с печатным текстом в большинстве случаев попадали в ее же стол и больше никуда. Не знала я и того, что бесстрашная исследовательница Горного Алтая Анна Ивановна Герман, написавшая интересные очерки и книги о Сибири, боялась публиковать свои новые работы. Многие хорошо ей знакомые писатели и писательницы в страшные сталинские времена были под арестом, а иные расстреляны. Про саму же Анну Ивановну было написано в газете так: «Нам не нужны Анна Герман и Жюль Верн». Конечно, Анна Ивановна внутренне была горда, что ее сравнивали с Жюлем Верном, но, как только у младшей дочери Инны появилась на свет я, бабушка навсегда уехала из Новосибирска в Москву помогать маме меня воспитывать. Но привычку к писательскому труду бабушка не оставила, иногда выпуская «статейки», как сама говорила, с горькой иронией.

К нам в гости в Ново-Дарьино приезжала ее подруга, поэтесса Елизавета Константиновна Стюарт. Голубоглазая Стюарт была дворянского происхождения, с королевской осанкой, красивая и нежная. Она очень любила мою бабушку, маму и меня. Мы часто вместе ходили гулять в лес к озеру, и Елизавета Константиновна обращала мое внимание на лесные цветы и голубых стрекоз над водой. Именно там, около нашего озера, при мне рождались ее удивительные стихи:

Большие синие стрекозы
В лесу над озером летят.
Еще зеленые березы
В него по-летнему глядят.

И лишь одна, в сторонке стоя,
Опредила всех подруг:
Надела платье золотое
И вышла первая на круг!

Как только я научилась писать, пока еще печатными буквами, то сразу задумала создать свою книгу. И название придумала: «Звездный мальчик» – меня не смущало то обстоятельство, что мотив был навеян фильмом с аналогичным названием. Что такое плагиат, я в это время еще не знала. Первым делом я принялась за обложку.

Вырезав из светлого картона небольшой листок и сложив его пополам, я взялась за краски. Изобразила чернильное небо и желтые звезды, потом большими печатными буквами написала заглавие, затем из более тонкой бумаги я вырезала листочки поменьше и вклеила в обложку: получилась приличная книжица, но на все это ушло дня четыре, и дело дальше как-то не пошло.

Бабушка и мама решили посадить свой сад. Вскоре были доставлены на участок первые саженцы, и началось. Мы все рыли ямки, клали подкормку для корней, осторожно опускали небольшие деревца, в основном «антоновку» и «белый налив», присыпали землей и поливали. С водой было туго, ее приходилось носить из пруда – издалека. Но наши труды увенчались успехом, и через два года появились первые бутоны на деревьях. Много лет спу-

стоя я обнаружила в бабушкином архиве две небольшие, чудом уцелевшие книжечки «опального» автора Анны Ивановны Герман, прочитала нехитрую историю старого Левченко, который задумал развести яблоневый сад в Сибири, а его друг написал об этом и пришел к нему с рукописью.

«Намерение рассказать о моем старом друге Игнате Левченко появилось у меня давно. Началось с малого. Я прихожу к тебе и застаю тебя за необыкновенным занятием. Мурлыча по обыкновению, ты высаживаешь яблоньки в нашу сибирскую землю. Первые – по эту сторону Урала. Весной они принялись. Мы – соседи – с интересом следили за твоей затеей. (Заглядывали через изгороди, с удивлением замечали, что твои питомцы просыпаются, раскрывают почки.) Некоторые жители нашей улицы смотрели на твою попытку, как на чудо-чество. (Над тобой посмеивались.) Находились такие, что пророчили плохой конец твоей затее. Особенно, когда от суровых морозов померзли все твои саженцы. Но ты, упрямец, привез новые.

Помню, глубокой зимой на постой к тебе заехали отступившие колчаковцы. В твоём садике устроили стоянку коней. А когда ты, в запальчивости, замахнулся палкой на коня, под копытами которого сломалась хрупкая на морозе вершинка старшей яблоньки, казачий хорунжий огрел тебя, человека уже немолодого, нагайкой по лицу...

С приходом новой зимы ты пригнул саженцы к земле, пришил колышками и прикрыл соломой. Яблоньки благополучно зазимовали. Я возвращался с Западных дорог, где мы восстанавливали движение. Возле твоей усадьбы меня остановил аромат созревающих яблок. Я направился к тебе и вошел в твой фруктовый сад. Там, на ветвях, разостланных по земле, благоухали румяные плоды. К тебе приводили детей и показывали им, как растут и зреют яблоки. А весной и мы, ближние твои соседи, посадили на своих участках первые фруктовые деревья.

Повсюду за деревянными заборами старых домишек появились плодовые деревья и цветники.

Лучшим из всех был и остается твой сад. Туда охотнее по зимам прилетают птицы. Весной в белом убранстве стоят новые, невиданные породы деревьев...

Сейчас, когда я пишу эти строки, ко мне в окна заглядывают яблоньки, сливы и вишни, посаженные моей бабушкой. Каждые два года мы собираем урожай душистых яблок, а я благодарю ее за любовь к нам и нашему саду. В детстве, поздравляя мою любимую бабу Аню с днем рождения, я писала в открытке: «Здоровья и желаю тебе написать твою книгу...» Книга так и не была написана тогда, но сегодня...

Мы вместе пишем эту книгу, ведь в ней будут и твои строки. С книгой тебя, моя милая баба Аня!

К моим семи годам мама, снявшаяся у режиссера А. Зархи в «Высоте» и поднявшаяся еще на одну высоту, получила двухкомнатную квартиру на Большой Дорогомиловской. Квартира, окна которой выходили на Бородинский мост, была просто опасна для здоровья из-за шума.

Я очень любила и папу, и маму. И не представляла, что счастье видеть их вместе может когда-нибудь закончиться. Когда мне исполнилось восемь лет, мои родители расстались. У меня остался мой портрет, нарисованный папой. Видимо он хотел его взять с собой, но портрет остался у нас, а вот с папой я не виделась после его ухода целых пять лет.

Позже я узнала, что у него есть еще один сын (от первого брака). Алеша жил в Ростове.

Всем этим драматическим событиям была посвящена моя первая литературная работа, написанная в семнадцать лет.

Дети

В первые годы моей жизни никто и не собирался сообщать мне о брате. Я очень любила своих родителей и чувствовала себя вполне счастливой, хотя мама и папа уезжали на съемки на долгие месяцы. Но вот они возвращаются, они дома, и наступают самые блаженные мгновения, мы втроем идем гулять. Я шла между ними, иногда, поджимая ноги, повисала у них на руках, как любимый мной Тарзан. Часто в нашей маленькой однокомнатной квартире на Новопесчаной улице появлялись чужие люди, в основном актеры, их было особенно много, когда уезжала мама. Они галдели, тискали меня, женщины сюсюкали, а мужчины подбрасывали к потолку, что я не особенно любила. Когда становилось слишком шумно, бабушка уводила меня на кухню и рассказывала о родной Сибири, о своих путешествиях по Алтаю.

Больше всего на свете я боялась остаться одна.

Помню, как однажды мы ехали на дачу, бабушка привела меня на платформу, усадила на скамейку с двумя сумками и ушла за билетом. Но тут пришла электричка, и мне показалось, что бабушка вошла в вагон. Когда электричка тронулась, я, схватив сумки, которые были вдвое больше меня, кинулась за ней. Я бежала и умоляла бабушку взять меня с собой. Если бы не какой-то мужчина, я бы упала с платформы. Он подхватил меня на руки там, где она кончалась, и передал меня перепуганной насмерть бабушке.

Меня редко наказывали в детстве, помню два или три таких случая, но один – наивно смешной – остался в памяти всех домашних.

Бабушка мыла пол, а я приставала к ней, требуя разрешить и мне немножко его помыть. Так как мне было три года, бабушка, понимая, что от моей помощи будет лишняя грязь, не говоря ни слова, продолжала заниматься делом. Я опять попросила вымыть пол, не получив никакого ответа. Тогда в голову бабушки полетела ее черная выходная сумочка, и по всей квартире раздался свирепый крик: «Убирайся в свой Новосибирск и там мой свой пол». Бабушка даже села на пол от неожиданности, а я, испугавшись своих слов, горько заплакала. И тут меня позвал папа. Он что-то долго и строго говорил, а потом, разложив меня на коленях, снял штанишки и отпустил три легких шлепка.

То, что последовало дальше, напугало весь дом, я заорала так, будто меня облили кипятком, потом стремглав, даже не натянув штанишки, бросилась к бабушке и уткнулась ей в колени. Я так долго и истово плакала, что все стали смотреть на отца как на изверга, и он, красный и растерянный, ушел проветриться на улицу.

– Ну, что ты, Ната, – утешала меня бабушка, – что с тобой? Папа больно тебя ударил?

– Не-ет, – наконец вырвалось у меня из горла. – Нет-нет, не больно.

– Ну, так что же ты плачешь? – удивилась бабушка.

– Да он ведь... – захлебывалась я от негодования. – Он ведь – мужик.

Все очень смеялись над моей внезапной стыдливостью, потому что хорошо знали, что я обожала ползать по отцу в чем мать родила.

Я вообще любила оставаться с отцом, потому что именно с ним обретала полную свободу действий, следовательно, проказам моим не было конца. После очередного просмотра Тарзана я забиралась на шкаф и прыгала с него на тахту, вопя во все горло тарзаньим криком. В свободное время отец писал картины и, по моей просьбе, рисовал мне парусники и жаркие страны.

Вскоре мы переехали на новую квартиру. Детям не жалко покидать старые места, слишком мало пережито, чтобы дорожить прошлым. Но бабушке было очень трудно уже в который раз расставаться со своими привычками, с налаженным кое-как бытом, где худо-бедно прожита часть жизни, где на свет появилась я, самая главная на сегодняшний день ее забота. Ну а мне был важен сам факт свершения – переезд. Помню день, когда грузовая машина,

в кабине которой сидели мы с бабушкой, въехала в серый колодец высоченных каменных домов. Наш дом был типичной постройкой сталинского периода.

Вход, по своим размерам напоминающий триумфальную арку, был сплошь украшен гипсовыми фрунтами и овощами. Эти детали архитектурного излишества показались мне маленькими круглыми попками, выставленными напоказ, и очень рассмешили. Около подъезда валялись вдребезги разбитые облицовочные плитки, которые уже тогда начали сыпаться с нашего дома. Только после того, как спустя два года такой же плиткой убило женщину, огромное парадное заколотили навсегда, по всему первому этажу протянули металлическую сетку, ну а жители проникали в дом через черный ход.

Но тогда мы вошли через парадный вход и очутились в большом пустом и очень холодном холле. В полутьме вырисовывалась металлическая клетка пока еще бездействующего лифта. Лестница нового дома была ему под стать – гигантской. Совершив восхождение на четвертый этаж нашего колосса, мы поблагодарили судьбу, что живем не на последнем четырнадцатом.

Новая квартира состояла из двух продолговатых комнат с огромными окнами до самого потолка, от которых равномерными волнами исходил гул. Под окнами был Бородинский мост, по нему неостановимым потоком шли машины. Приложив нос к оконному стеклу, я ощутила сильную вибрацию всего дома.

Новой мебели еще не было, и мы расположились прямо на полу. Единственная вещь, которая была куплена сразу – маленькое ореховое пианино. Оно торчало посреди пустой комнаты, как намек на мои будущие мучения.

В семь лет я отправилась в школу с большим букетом цветов. Провожал меня папа. Мама была в Ленинграде на съемках фильма «Дорогой мой человек». В этот день мне казалось, что все люди смотрят только на меня и на мой прекрасный букет. Конечно, люди смотрели не на меня, а на моего отца, которого к тому времени уже знали по фильмам, но я была так счастлива, что не хотела замечать этих мелочей. По ошибке я попала не в тот класс – вместо 1 «А», во 2 «Б», где у меня отняли букет, но потом, разобравшись, отвели к первоклассникам, правда уже без букета.

Так началась моя трудовая жизнь.

Но не голая квартира, не потеря привычек и привязанностей прошлого вносили в нашу семью щемящую тоскливую нотку, а что-то совсем другое. Это что-то, тщательно скрываемое от меня, проникало через закрытые двери, где мама с бабушкой вели продолжительные беседы, являлось в тревожных, измученных бессонницей родных лицах, в пасмурной и тяжелой атмосфере, царившей в нашей семье.

Но не все удавалось скрыть от меня. Помню, как к нам неожиданно приехал дедушка, отец моего отца – Федор Петрович Бондарчук. Мама была в отъезде. В родительской комнате папа, бабушка и дедушка Федя что-то громко обсуждали. Я сидела в смежной комнате и лепила что-то из пластилина. Разговор уже длился около часа, мне давно хотелось есть, но я не решалась войти в комнату взрослых. Неожиданно тон голосов настолько повысился, что моментально была перейдена грань между разговором и криком, особенно кричал дедушка, ему вторил басок отца, раздраженный, неприятно резкий, затем я услышала бабушкин голос, и вот эти жалобные болезненные нотки в ее голосе подняли меня и заставили войти к ним в комнату.

Я вошла, но красные, распаленные криками взрослые не заметили моего появления. Я забралась на крышку пианино и стала слушать. Из всего, что происходило, я поняла только то, что обижают мою бабушку. На нее кричали мужчины, она куда-то позвонила и сообщила, что это дело житейское, и мама ничего не должна знать. Из васильковых глаз бабушки по морщинкам текли слезы, она что-то попыталась сказать, но не смогла, только посмотрела на папу такими странными и больными глазами, что меня всю начало трясти.

И тогда закричала я, нет, не закричала, а заорала – что-то несуразное. И только тут обнаружилось мое присутствие. Отец снял меня с пианино. «Зачем же ребенка мучить», – сказал он, прижимая меня к себе, но впервые в жизни я не почувствовала радости от его прикосновения, мне было жалко бабушку.

Через две недели от меня перестали скрывать случившееся, слишком все было очевидным. Но не сам факт исчезновения отца поразил меня, а то, что я узнала от бабушки: что еще до нас у папы была семья и что у меня есть брат по отцу Алеша. Как раз то, о чем я всегда мечтала – старший брат.

Из бабушкиного архива были извлечены на свет старые, тщательно хранимые фотографии. На них я увидела на коленях у моей мамы трехлетнего малыша, с курчавыми темными волосами и большущими темными глазами. Он был очень похож на меня в трехлетнем возрасте. По секрету бабушка поведала мне историю первой семьи отца.

– Уж не знаю, как там у них было, только встретились они в Ростове накануне войны. И совсем немного-то вместе и были, а тут ему ружьишко выдали и на войну... – рассказывала бабушка. – А когда он отслужил, да сразу на третий курс к Герасимову во ВГИК попал, Инну встретил и полюбил, тут-то ему в письме карточку сына и прислали. А он-то не верит, что это его сын, да и бумаги в военное время о том, что он женат, не сохранились.

Я слушала бабушку затаив дыхание. А та всматривалась в фотографию ребенка, чему-то улыбаясь.

– Мама Алеши привезла его из Ростова в Москву. Нашла по адресу дом и оставила ребенка отцу. Тут-то ему все пришлось рассказать. Инне малыш сразу понравился и полюбился. Она за ним, как за родным, ходила и заявила отцу своему, что ребенок очень на него похож и сомнений быть не может. Сергей официально усыновил сына и стал выплачивать алименты на его содержание. Ну, ребенка, естественно, мать забрала, а Инна по нему так тосковала, что вскоре и ты родилась.

«Ну вот, – думала я, – всегда так, самое главное не рассказывают. Что же получается? Получается, что я своим появлением на свет обязана брату Алеше. Значит, вначале отец мать Алеши оставил, а потом...»

Я не сразу начала тосковать по отцу, мне казалось невыносимым, невозможным, что отец ушел от нас навсегда. И действительно, видимо, совсем не просто все это было, потому что однажды он вернулся к нам. Это случилось в Ново-Дарьине.

Лил дождь. Бабушка, боясь грозы, не позволила нам включить свет, и мы сидели с мамой в сумерках, прислушиваясь, как тоненькой струйкой, дребеденя, льется вода в бочку. Я сидела у окна и смотрела на мокрый сад. С детства любила дождь и особенно воздух после дождя. Вдыхаю, впитываю его в себя во всю полноту легких, и мной овладевает такое пьянящее и прекрасное чувство, что, кажется, можно подняться вместе с ветерком – сначала над травой... потом выше к вершинам берез, и еще выше... Мама о чем-то тихо говорила с бабушкой, и я, выждав момент, когда на меня не обращали внимание, незаметно вышла на террасу и настежь открыла окно. Лицо сразу сделалось мокрым от мелких капелек, и я стала усиленно дышать грозой.

Молнии полыхали совсем рядом, но наслаждение было так велико, что оно уничтожило страх перед грозой. На террасе еще слышнее был дождь, стучавший по крыше, хлопавший по лужам в саду, все звуки слились для меня в стройную и прекрасную мелодию, я даже начала в такт ей раскачиваться, взмахивая руками, как крыльями.

Скрипнула калитка, вошел какой-то человек с чемоданом. Несмотря на то что дождь лил как из ведра, он не спешил к дому, старательно прикрыл калитку, прошел несколько шагов и остановился напротив моего окна. Наши взгляды встретились, из-за сетки дождя на меня смотрели глаза отца. Он взглядывался в мое лицо, потом невесело подмигнул и вошел в дом.

– Вернулся, – тихонько торжествовала бабушка, – с чемоданишком сбежал.

Отец действительно был похож на беженца, похудевший, даже почерневший от щетины на щеках.

Дождь поутих, и на полчаса выглянуло вечернее рыжее солнце. Отец взял столярные инструменты, вышел во двор и стал мастерить садовый столик, но прежде под березой соорудил себе верстак, на котором стал тесать еловые доски. Доски были мокроватые и от этого благоухали еще больше. Я вдыхала свежий еловый аромат и даже пробовала сосать еловые стружки. В последний раз солнечные лучи брызнули в мокрый сад и осветили и наш дом, и белый, только что срубленный верстак, и черную кудрявую голову отца, и мое мокрое и счастливое лицо. Медленно погасли веселые огоньки, всё погрузилось в темноту. Снова стал накрапывать дождик, и хрипло заворчал гром. Отец в полутьме продолжал мастерить столик в саду, долго сквозь сон я слышала стук молотка. На другой день он уехал в город.

И после этого отца я не видела в течение пяти лет!

Много позже я узнала от мамы, что развели их сплетни, какие-то подмётные письма. В конце концов мама сказала отцу: «Сережа, мы с тобой должны расстаться. Я больше с тобой жить не могу...».

С трудом произнеся эти слова, мама опустилась на диван и мгновенно заснула на короткое время. Когда она очнулась, перед ней сидел отец, плечи его ходили ходуном от рыданий.

Конечно, для них обоих расставание вылилось в настоящую драму. Мама снова уехала в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек», а папа некоторое время жил у друзей.

Но всего этого я, конечно, не знала.

Вскоре мы с бабушкой остались вдвоем, я не очень беспокоилась, где мама, ведь она так часто уезжала на съемки. Дела мои в школе шли скверно, дети и взрослые беспощадно, каждодневно мучили меня расспросами о моей семье. А когда в течение недели нам три раза задавали написать сочинение «Моя семья», «Мои родители» и «Мой дом», я стала пропускать занятия, но чтобы иметь право оставаться дома, наглатывалась на морозе мороженого и заболела ангиной. Какие-то женщины подходили ко мне прямо на улице, говорили, где и с кем находится мой отец и просили сообщить маме, а ее не было.

Наконец бабушка призналась, что мама в больнице, что ей сделана операция и что все страшное уже позади. И вот мы едем в больницу к маме. Это было мое первое в жизни посещение больницы. Я не помню, где она находилась и как выглядела снаружи, но внутри она была обшарпана и вся пропитана тем специфическим больничным запахом, от которого кружилась голова и сильно мутило.

Мы вошли в палату, где было много женщин. Одни лежали, другие сидели на кроватях, о чем-то переговаривались, но мамы среди них не было. Бабушка подошла к какой-то лежавшей женщине и нагнулась над ней: «Инна, я привела Нату». Я застыла в недоумении, женщина слабо шевельнула рукой, что-то прошептала.

– Ната, ну что же ты, подойди к маме.

Я подошла к женщине и склонилась над ней, лицо землистого оттенка было совершенно оплывшим, глаза из-за набухших век казались щелками, но за всей этой маской страдания угадывались родные черты моей мамы.

И тут мое детское воображение, подчиненное какой-то своей логике, подсказало мне, что меня привели прощаться с мамой. Да, именно прощаться, навсегда, в этой страшной палате с металлическими кроватями и серыми стенами, где потолок был покрыт темными рваными трещинами в подтеках. Я прикоснулась к маминой руке и увидела ее совсем другую, веселую, озорную, умеющую радоваться жизни. Мамины руки, теплые, необыкновенно нежные, гладили меня по лицу и будто что-то говорили, объясняли, уговаривали, плакали вместе со мной.

Позже я узнала, что мои детские страхи были оправданы: мама плохо перенесла операцию и еще долго не поправлялась.

У меня есть брат

Вам никогда не приходилось разбирать этюд Черни?

Нет, не играть, а именно разбирать его с учительницей музыки, по складам, по бемолям и диезам, по смеющимся над тобой черным нотным точкам.

Занятие это более чем тягостное, особенно когда тебе тринадцать и у тебя слабые мизинцы. Вера Казимировна снова и снова заставляет извлекать из инструмента хилые, далеко не музыкальные звуки. Мне стыдно и больно. Стыдно от своей беспомощности и больно оттого, что руки Веры Казимировны, такие же твердые, как клавиши, и, когда рука попадает между двумя этими поверхностями, хочется визжать, как мартовская кошка. Из этого совсем не следует, что я не люблю музыку. Я чувствую ее всей душой, особенно когда в доме никого нет и можно включить проигрыватель на полную мощь. Тогда кажется, что музыка живет в каждой клетке твоего тела, что свет из окна и пылинки в воздухе, все это – музыка. И, подхваченный неведомой силой, ты можешь улететь далеко-далеко и увидеть что-то неведомое, непостижимое, которое поднимет тебя с места и заставит закружиться в танце.

Но слушать – это одно, а вот самой вытащить из нотного листа и инструмента хилый звук – совсем другое. Попытка – окрик, снова попытка, и вот уже нервные клещевидные руки впикивают мои пальцы в нужный аккорд.

Чтение с нотного листа никогда не давалось мне, единственное, чем одарила меня природа – чувство ритма. Мне рассказывали, что годика в три я увидела из окна машины маленького голого цыганенка, лихо отплясывающего у таборного шатра. Дома, неожиданно для всех, я повторила танец, заявив после этого, что меня украли из табора, и настойчиво просила вернуть меня законным владельцам. Но меня не вернули, и я навсегда утратила связь со стихийной свободой.

«Раз – и, два – и...», – звучит над самым ухом голос Веры Казимировны, а в голове одна мысль: скорей бы это все кончилось! Иногда, конечно, занятия проходят довольно гладко – это когда играет сама Вера Казимировна, а я ее слушаю, или когда урок превращается в вокал. Петь я не умею, но очень люблю. Год назад, когда состоялся наш межквартирный концерт, я даже произвела некоторое впечатление на зрителей. Вера Казимировна давала уроки музыки многим детям нашего гигантского многоэтажного дома. Весной, каждый год, одна из квартир наполнялась дедушками, бабушками, тетями и дядями, приходившими взглянуть на успехи своих чад. И вот в прошлом году, после моего хилого исполнения полонеза Огинского я встала у рояля, а Вера Казимировна объявила романс и бодро ударила по клавишам. И я запела: «Милый мой, о, мой кумир, нас давно уж лодка ждет, слышишь, как Гвадалквивир и бушует, и ревет». По рядам родителей прошло заметное оживление, а я вытягивала во всю грудную клетку: «Сердце полно ожиданий, и горю я, как в огне, не откла-а-а-ды-ы-вай свиданья, выходи, о, друг, ко мне, выходи, о, друг, ко мне...».

Кто-то что-то сказал, и явственно послышался грубоватый смех. Схватив ртом побольше воздуха, я закончила: «Там, в долине, среди гор, мы найдем себе усла-а-ду, нас чужой не встретит взор». Зрители плакали от смеха и от души аплодировали. Пунцовая и гордая, я пробиралась на свое место и, проходя мимо зеркала, увидела, что мой белый бант сполз от усердия на ухо и вся я была очень похожа на взъерошенного щенка, долго гонявшегося за своим хвостом.

– Раз – и, два – и... – нет, это невыносимо, ну хоть что-нибудь случилось бы... что-нибудь. В прихожей звякнул звонок. Неожиданно открылась дверь, и вошла бабушка. Это уже необычайное происшествие. Моя бабушка никогда не входит в комнату во время заня-

тий, отчасти чтобы не помешать, но главным образом чтобы не испереживаться, видя мое пунцовое лицо и мокрые глаза музмученика.

Нет, на самом деле что-то произошло, я отчетливо это вижу по бабушкиному лицу, выражающему таинственную печаль. Она, склонясь над Верой Казимировной, что-то шепчет ей на ухо, и у той, вздрогнув, поползли вверх седые брови.

– Наташенька, – торжественно начала бабушка, – к нам приехал твой брат Алеша.

Теперь и мои брови поползли вверх. Да, я слышала, что у меня есть родной брат по отцу, но никогда его не видела. Бабушка увела Веру Казимировну на кухню, а я осталась одна. Я прислушивалась к голосам в передней, но от волнения ничего не понимала. Шум машин за окном, крик ребенка за стеной, стук моего собственного сердца слились в какой-то один монотонный звук и обволокли мое сознание, не позволяя встать.

– Ната, иди же к брату! – прервал мои грустные мысли бабушкин голос. Я встала и раскрыла дверь в прихожую. Там около дивана стоял рослый девятнадцатилетний парень и, улыбаясь, смотрел прямо на меня.

– Вот ты какая у меня, сеструха! – воскликнул он и прижал к себе. Я неловко поцеловала его в щеку.

И только тут в зеркале, увидев нас обоих, я поняла, что мы похожи друг на друга как две капли воды, а Алексей еще больше, чем я, похож на отца. Мы устроили брата в нашей с бабушкой комнате.

Алеша оказался очень веселым и озорным. Его занимали две вещи: плавание, он имел первый разряд и даже участвовал в соревнованиях, и ритмическая музыка, в просторечье – Битлы. Он привез с собой несколько записей, которые тут же стал прокручивать на мамином магнитофоне, включив звук на полную. Я не удержалась от соблазна, стала танцевать.

Никогда я так не ощущаю полноту жизни, как в танце. Я чувствую, как все тело сливается с ритмом, и воздух, как бы утратив свою пустоту, приобретает вид невидимых глазом граней, ступенек, площадок, на которые поднимаются и с которых спускаются руки, ноги, что-то заставляет все тело подниматься в воздух, и под лопатками становится щеотно, как будто и впрямь там отрастают крылья. Больше всего на свете я люблю танцевать вот так, свободно, сама по себе.

Алексей смотрел во все глаза на меня, и конечно, сам поддался ритму, но его танец был скорее пантомимой: вот он, изображая какого-то странного и гибкого зверя, собрался в одну точку, вдруг прыгнул вверх, вытянувшись струной, а вот он осторожно и мягко двигается, как большая кошка. А вот веселая забавная обезьяна. Он так смешно копировал обезьяну, ее походку, почесывания, мимику, что я расхохоталась.

К нам вошла мама. Алексей в том же образе обезьяны подскочил к маме и потерялся о ее плечо. Она на секунду прижала Алексея к себе и вышла из комнаты. Мы остались вдвоем. Алексей выключил магнитофон.

– Ты давно виделась с ним?

– С кем? – спросила я, хотя и прекрасно поняла.

– С отцом.

– Давно, мы не виделись пять лет.

– Но есть же телефон?

– Он не звонил.

– А ты?

– Я не хочу... не могу, – добавила я.

Алексей сел на тахту и, не глядя на меня, стал рассказывать.

– Мои не знают, что я в Москве, они думают, что я поехал на соревнования по плаванию в Киев... Я ждал... все время ждал, что он приедет, или позвонит, или напишет. Все лезут ко мне с известиями об отце: где он бывал, что сделал, и спрашивают подробности, а я отвечаю

то, что слышал от других или читал в газетах, будто это он мне рассказывал, ведь никому в голову не приходит, что я его и не вижу совсем...

Я вспомнила свои школьные мучения. Однажды нас позвали в школьный кинотеатр, где мы с удовольствием смотрели узкоплечные фильмы. Я не знала, какой ждет меня «подарок». Учительница привезла фильм «Судьба человека». Так я «встретилась» с отцом. И вот она, сцена, где главный герой, потеряв свою семью, находит беспризорного мальчишку и сообщает ему, что он его отец. «Папа, папка родненький, наконец-то ты меня нашел, я знал, что ты меня найдешь...» – кричал мальчик...

В этот момент я чуть не потеряла сознание от невыносимой боли. На экране мой отец находит себе сына, а я... Почему же меня он оставил, совсем оставил? С того дня я заболела сильной мигренью, что, впрочем, освобождало меня от многих занятий в школе.

Но Алеше было труднее в маленьком городе, где каждый старался узнать все о ближнем, особенно если дело касалось знаменитости. Сколько же историй пришлось ему насочинять, чтобы никто не догадался, что, кроме фамилии, у них с отцом нет ничего общего. Алексей словно почувствовал мои мысли и продолжал рассказывать, поглядывая на меня:

– Я попросил денег у деда и приехал... приехал к нему. Адрес узнал в справочном. Мне открыла какая-то старая женщина, сказала, что его нет дома, ну тут я ей и сказал, что я его сын и мне необходимо с ним повидаться. Старая позвала женщину помоложе, это оказалась его теперешняя жена, ты ее видела?

– Нет, только на экране, я ее совсем не знаю.

– Зачем тебе ее знать? – усмехнулся Алексей.

– Ну, ведь ты же хорошо относишься к моей маме.

– Здесь другое, во-первых, твоя мама даже не знала, что он был женат до войны, ну, а потом... – Алексей замялся. – Тебе рановато об этом знать, когда-нибудь расскажут.

Я поняла, что он знает, как мама к нему отнеслась, когда он был совсем маленьким... Алексей продолжал рассказывать.

– Ну вот, вышла эта, что помоложе, и говорит то же самое: что отца в Москве нет и не скоро будет, а сама смотрит на меня. «Вы, – говорит, – где остановились?» Со мной еще в жизни никто на вы не говорил. «Вам помочь с гостиницей?» Ну, думаю, у меня от дедушкиных запасов один рубль остался, какая гостиница? «Нет, – говорю, – не надо гостиницу».

Алексей даже крикнул как-то по-стариковски от обиды.

Увидев мое скисшее лицо, он добавил бодрым тоном:

– Знаешь, у меня абсолютный слух.

И, продолжая вглядываться в мое лицо, он вдруг запел густым баритоном:

Когда фонарики качаются шальные...

На другой день Алексей отправился в Калинин на съемки к отцу. Алеша оставил свои фотографии, а бабушка достала откуда-то его детские снимки. Мама с грустными глазами рассматривала и те и другие.

– Посмотри, – мама показала бабушке одну фотографию, где на обратной стороне Алексей подписал имя и фамилию. – Он даже почерк его выучил и расписывается, как Сергей.

– Да-да, – согласилась бабушка, – его почерк. Лицо, фигура, даже ходит, как он. Откуда же? Он ведь не мог этого запомнить.

– Мне писали, что он изучает почерк отца по старым письмам, а походку по фильмам, каждую его картину просматривает столько раз, сколько сеансов показывают. Но когда он стал показывать обезьяну, я не выдержала, ведь это же было любимым развлечением Сергея... и так похож.

– Ну, конечно, я и сама теперь это вспомнила, – заулыбалась бабушка. – А ты, Ната, не помнишь?

Нет, я не помнила и даже не очень понимала в этот момент, о чем меня спрашивают. Я смотрела в окно, за которым был вечер и шел мелкий дождь, и неожиданно для себя увидела или представила все, что происходило там, в Калинин, где мой брат искал моего отца.

Встреча

Огромное, подсвеченное прожекторами поле было совершенно размыто дождем. Алексей шел, увязая по щиколотку в вязкой глине. Спереди и сзади его окружали суетливые люди, чем-то недовольные. Они на мгновения составляли группы из трех-четырех человек, и тут же распадались, и, как казалось, бессмысленно топтались на месте.

Неожиданно появились люди, лошади, какие-то громоздкие телеги. Все грохотало, роптало, суетилось. Но вот над полем пронеслась команда, заглушив все остальные звуки.

– Внимание! – звучал требовательный голос. – Внимание! Подготовиться к съемке!

И тут, повинувшись команде, все люди, лошади, телеги, все вдруг выстроилось в шеренги и замерло.

– Мотор! – прокатилось над всем полем, и Алексею показалось, что земля дрогнула под ногами, все со страшным скрежетом и шумом устремилось вперед, и он сам бросился бежать, и если бы этого не произошло, его бы сбили с ног, а, может быть, и раздавили бы сзади бегущие. Алексею стало страшно, он видел перед собой огонь, настоящий огонь, полыхающий над какими-то строениями, и именно туда его несла толпа, он уже видел падающие обугленные бревна, желтые, горячие языки пламени.

– Сто-о-оп! – пронеслось над полем, и все мгновенно распалось, унялось, погасло.

– Снято, – услышал Алексей. Три пожарника старательно поливали обугленное строение, шипя, гасли последние искры пожара. Алексей огляделся, невдалеке увидел возвышение из деревянных балок, на которых была установлена большая кинокамера. Дождь усилился, стало совсем темно, Алексей неуверенно пробирался, увязая в грязи, к деревянному помосту.

– Завтра придется повторить, Сергей Федорович, – услышал он чей-то голос, – я не уверен, при такой чувствительности пленки...

– Господи, а когда ты был уверен и в чем, – услышал Алексей другой голос и насторожился. – Два дня уже здесь сидим и двух полезных метров не высидели, – говорил коренастый седой человек, спускаясь с помоста.

Он прошел совсем близко от Алексея, их взгляды встретились... и ничего не произошло. Алексей попытался что-то сказать и неожиданно взял его за локоть.

– Что, что еще? – отец сердито смотрел на него, по всему лицу его была разлита усталость. Алексей, не отпуская его, смотрел в чужое и очень родное лицо.

– Я твой сын, – тихо сказал он и, прижимаясь к нему всем телом, захлебнулся от слез. Все как будто замерло: перестали галдеть люди, погасли прожекторы, дождь приутих и последними тяжелыми каплями беззвучно падал на землю.

– Это я, папа, – вырвалось впервые произнесенное мучительное слово.

Через два дня Алексей приехал к нам. Он был немного пьян, мама уложила его в постель. Из его сумбурного рассказа мы поняли только, что Алексей встретился с отцом под дождем на поле, что вместе они приехали с ним в Москву, что он слушал его стерео и еще что-то о пластинках.

Было уже поздно, все легли спать. Я лежала в кровати и смотрела, как по темному потолку пробегали белые светящиеся полосы света фар последних ночных машин. Мне не хотелось спать, я прислушивалась к дыханию бабушки и Алеши и еще и еще раз представляла встречу брата с отцом.

– Ты спишь? – услышала я тихий голос.

– Не сплю.

Я увидела, как Алексей сел на кровати и закутался в одеяло. Видимо, его знобило.

– Он мне деньги дал, на гостиницу, – говорил Алеша простуженным голосом, – а я их пропил. Пошел и купил что-то самое дорогое, липкое, тягучее и сразу у магазина с кем-то выпил всю бутылку. Я же в первый раз к нему... Приехал... а он – «гостиницу». Нат, а Нат, а ты его видеть хочешь? – задал он, видимо, мучивший его вопрос.

– Не знаю, – сказала я неуверенно. – Иногда хочу, иногда даже очень хочу. Я даже с ним разговариваю, когда трудно, и будто он мне отвечает и понимает меня лучше всех. А то вдруг – пожар, и я его спасаю...

– И я его спасал, много раз, – отозвался Алеша. – Один раз так все это увидел, что самому страшно стало. Будто он сидит на поляне и медленно в землю погружается, а люди вокруг него бегут и ничего сделать не могут. А он как будто и не просит их помочь, а просто смотрит, как земля его со всех сторон охватывает... И понимаешь, не болото это, а именно земля, с травой, цветами, и держит его крепко. И тут будто я подхожу к нему, а он меня узнал, обрадовался, и я его беру за руки, и земля его отпускает. А сам он легкий-легкий, и я несущего на руках, а он ко мне прижимается, как ребенок.

Горло мое сдавило жгутом, хотелось плакать навзрыд, но что-то не давало расплакаться, и от этого еще больше давило и болело в груди. Из-за занавески выглянул серебряный новорожденный месяц. «Месяц, месяц, тебе – серебряные рожки, мне – доброго здоровья», – вспомнила я вдруг детскую присказку.

– Алеша, знаешь, в этом году умер наш дедушка, отец отца, Федор Петрович.

– Я не знал, я его совсем не знал, какой он был?

– Острый такой, резкий. Я видела его молодым на портретах, совсем как в «Тихом Доне» Мелехов, читал?

– Читал. Он что, казак?

– Да, кубанский казак, и бабушка тоже. Только он в последнее время с другой жил. Он за что-то сильно обиделся на отца и написал ему письмо, ужасное, где он отца во всем обвиняет, а письмо не успел отправить, умер. Когда отец приехал его хоронить, ему, прямо на кладбище, это последнее письмо отца и вручили. Я на следующий год туда приехала, и мне рассказывали, как плакал отец, после этого он очень долго болел...

– Ты его любишь... – неожиданно сказал Алексей, и в голосе у него не было вопроса.

Кончились короткие каникулы, и вот я снова в школе. Разложив тетради на подоконнике в туалете, спешу хоть что-нибудь списать в свою тетрадь из домашних заданий.

Пронзительно звенит звонок, от которого мой лоб покрывается капельками пота.

На математике старательно прячусь за спины впереди сидящих и надеюсь, что пронесет. В конце урока Анна Сергеевна, по сообщению с первой парты, поставила в журнале против моей фамилии точку, значит, спрашивать намерена завтра, придется срочно заболеть.

На английском с грехом пополам прочла какой-то текст о велосипедистах. Но вот – история, мой любимый предмет и любимая учительница Ирина Гурьевна. Я просто не могу прятаться от нее и всегда смотрю в ее доброе и красивое лицо.

И надо было так случиться, что она спросила именно сегодня, когда я даже не имела представления, что нам задавали.

Я встала и косо взглянула на учебник, открытый на странице, где была картинка. На ней пирамиды и рабы, тянущие на полозьях огромные камни.

– Наташа, что же ты нам расскажешь о Древнем Египте? – ласково спросила Ирина Гурьевна.

И тут смешалось все: и атмосфера ночного разговора с братом, и то, что я когда-то читала о Египте, но скорее это была чистая фантазия, я начала рассказывать, стараясь ясно видеть, о чем говорю.

«Была светлая душная ночь. Молодой, только что народившийся месяц повис на остром краю недостроенной пирамиды, заставив песчаное пространство светиться под холодными белыми лучами. Нат тянул свою лямку, закрыв глаза, но даже с закрытыми глазами он не мог уберечь их от песка и разъедавшего их пота. Песок был везде, он втерся в поры кожи и нестерпимо жег ее. Нат с трудом просунул ладонь под кожаный ремень лямки, привязанный к плечам, и попытался его ослабить: ремень в кровь стер ему плечо, и Нат чувствовал под рукой липкую кровавую массу.

Двадцать рабов тянули за ремни деревянные полозья, на которых возвышалась каменная громада. От трения о песок между полозьями проскакивали огненные искры. И поэтому через каждые двадцать метров под полозья лили воду. Эти минутные задержки давали возможность немного отдохнуть, незаметно рабы ставили свои горевшие от песка ступни около полозьев, и часть воды проливалась и на них, и, опять напрягая тела до изнеможения, они продолжали двигаться к пирамиде.

Нат ощущал горячее дыхание идущих сзади, он ненавидел каменную ношу и все это пространство с колючим песком и великими пирамидами, которые построили такие же, как он, и которые своей величиной как бы говорили о его ничтожности. Шаг за шагом рабы приближались к своей цели – недостроенной пирамиде, которая, как гигантский сломанный зуб, светилась в пустых пространствах.

Надсмотрщик, измученный этой небывало душной ночью, стремился скорее достичь цели и отдохнуть, выпив сонного зелья, которое всегда носил с собой в кожаном сосуде в виде головы кобры, привязанном за бечевку к поясу. Из последних сил он размахнулся плетью и ударил по обнаженным и мокрым от пота спинам рабов. Казалось, боль проникла во все тела одновременно, люди рывком подались вперед, каменная глыба накренилась и стала медленно сползать с полозьев.

Надсмотрщик кричал, бил рабов, призывал богов-покровителей, но ничего нельзя было сделать. Рабы даже не могли развернуться назад, прикованные к полозьям. Стоявший ближе всех к камню спокойно наблюдал, как глыба медленно сползает на песок, раздавливая деревянные полозья.

Неожиданно Нат почувствовал, как ремень, стягивавший все его тело, порвался. Пока смотритель бранился и тщетно пытался заставить рабов поднять камень, Нат упал на песок и отполз на несколько метров.

Эта ночь была самой счастливой в жизни, в нем пробудились такие силы, о которых он даже не подозревал. Он был свободен, и тело его было свободно и полно удивительной энергии жизни.

Быстрыми легкими шагами он приближался к Великой пирамиде, чья вершина упиралась в небо. Безумная мысль захватила его сознание: все смотрели на него сверху вниз – и эти каменные громады, и люди, и беспощадные боги, – но сегодня он сам будет смотреть на всех сверху. Стремительно, словно за спиной у него выросли крылья, он стал подниматься по пирамиде к небу, все в эту ночь удавалось ему легко, как во сне.

Он достиг вершины пирамиды и встал на маленькой каменной площадке, над ним были звезды, тело оведала приятная прохлада. Нат посмотрел вниз, под белым сиянием месяца он видел огромное песчаное поле, усеянное каменными изваяниями и пирамидами, между которыми еле различимо передвигались темные группы людей, напоминающие уставших муравьев. Нат понял, что не спустится вниз, его место здесь, рядом с серебряным месяцем и звездами, и об этом ему захотелось крикнуть всем людям.

– Эй, вы! – закричал он, вдыхая прохладный воздух свободы. – Я здесь, я никогда не спущусь к вам и буду вечно здесь – на вершине великой пирамиды. Вы строили ее для мертвечины, а оказалось, что она годится для меня, для живого. – И он запел странным гортанным звуком песню без слов, песню живого.

До людей долетали звуки песни, и они в страхе склонили свои головы наверху жили только боги, но никто еще из смертных не слышал их голосов.

В ритм песни Нат двигался по маленькой площадке, здесь, на вершине, страх перестал владеть им и *остерегать* его. Сделав резкое движение в сторону, Нат почувствовал, что теряет опору, но он даже не пытался ухватиться за каменные края площадки. Сознание своей великой силы не покинуло его, и даже тогда, когда он понял, что падает, он продолжал видеть звезды и был уверен, что падает вверх...»

Пронзительно зазвенел звонок, я очнулась от рассказа, как от сна. Ирина Гурьевна смотрела на меня с улыбкой и удивлением.

– Я тоже увлекалась в твоём возрасте подобной литературой. Что это за книга, из которой ты нам рассказала эту историю?

Я молчала, мне было грустно. Грустно, что видение ушло, грустно, что никто не понял, что это была не книга, а видение.

– В твоём рассказе много исторических неточностей, но есть атмосфера действия. Где же ты это прочла? – настаивала учительница.

– Я не помню, это было давно, – выдавила я из себя. Ирина Гурьевна рассмеялась.

– В твоём возрасте не может быть давно. Ну хорошо, урок окончен, можете идти на перемену. Наташа, я ставлю отлично, но не забудь в следующий раз запомнить автора и название книги.

За окном опять стал накрапывать мелкий скучный дождик. Моя авторучка давно сползла с тетрадного листка, на котором иксы и игреки вели свои нудные, ничего для меня не значащие разговоры, и с удовольствием рисовала забавных человечков на моей домашней зеленой парте. Вернее, бывшей зеленой, потому что постепенно она покрылась густым слоем чернильных рисунков. Я часто ловила себя на том, что совершенно не замечаю этого перехода от страниц учебника и тетрадных листов на мое зеленое поле, где рука сама собой выводила всевозможную чепуху.

В прихожей зазвонил телефон, и через минуту в комнату вошла мама.

– Ната, – сказала она, плохо скрыв волнение в голосе, – звонит твой папа, он хочет с тобой поговорить...

Это было так неожиданно и так долгожданно, что смысл маминых слов доходил до меня несколько минут. В дверях появилось улыбающееся бабушкино лицо.

– Надо же, это он, глядя на Алешу, о ней вспомнил, – чему-то радовалась она.

– Ну, что же ты сидишь, Ната?

Я вышла в прихожую, прижала телефонную трубку к уху и от волнения забыла, что нужно что-то сказать или поздороваться. Но, видимо, услышав мое сопение, отец все понял и заговорил сам.

– Наташа, это я... твой папа, ты меня еще не забыла?

– Нет, папа.

– Я сейчас приеду к тебе, слышишь, приеду повидаться. Ты не уходи никуда.

– Хорошо, папа.

Он повесил трубку, около меня стояли в ожидании мама и бабушка.

– Ну, что он сказал? – не выдержала бабушка.

– Что сейчас приедет, – ответила я.

– Ну наконец-то, видимо, правда из-за Алеши вспомнил, – вздохнула бабушка. Мама молча смотрела куда-то перед собой.

Я еще не ушла из прихожей, как снова зазвонил телефон. Я взяла трубку.

– Ната, – услышала я голос отца, – это я... знаешь, давай лучше встретимся в Нескучном саду. Знаешь, где это? Приезжай туда...

Я крепко, до боли прижала телефонную трубку к щеке, боль убивает беспомощность перед обидой.

– Нет, папа, я никуда не поеду, ты же пять лет не вспоминал обо мне, не звонил... не приходил... а хочешь, чтобы я...

Я говорила, чувствуя такое напряжение, что перед глазами поплыли белые полосы, как при сильной головной боли.

– Приезжай к нам... если хочешь.

Наступила мучительная пауза.

– Хорошо, я приеду, сейчас приеду.

Чтобы скрыть свое волнение от мамы, я машинально взяла книгу с полки и ушла с ней на кухню. Открыла «Мир приключений» и увидела картинку – легкий парусник приближался к берегу с тропическими деревьями.

И тут я вспомнила рисунки моего отца, легкие парусники, которыми я любовалась перед сном и брала их в свои сновидения. И, как яркая лента, стали один за другим проноситься в моей памяти забытые эпизоды детства. Вот мы бежим с ним по веселой майской траве, и он позволяет мне скатиться вниз к речке, и вот вода смыкается над моей головой, и сильные руки поднимают меня вверх, к солнцу. Было ли это со мной, с нами, я не знаю, может быть, это была память моих снов об отце...

В дверь позвонили, я встала, услышала голос брата и вышла к нему.

– Алеша, к нам приедет папа, – сообщила ему бабушка.

Посмотрев на мое взъерошенное лицо, Алексей улыбнулся и снова надел плащ.

– Прекрасно, пусть они побудут вдвоем, а потом и я приду.

– Я хочу быть с тобой, Алеша, – протестовала я, – мы должны быть вместе.

– Мы и будем вместе, я скоро приду, – и Алексей ушел.

Я заставила себя не подходить к окну, в котором был виден двор и с минуты на минуту мог появиться отец. Но бабушка, не утерпев, села у окна. Прошло несколько минут, и она оповестила, что подъехала черная машина и из нее вышел отец.

– А в машине кто-то остался, – продолжала передавать нам сообщения бабушка. Но вот раздался звонок в дверь, и мама пошла открывать. Спohватившись, я взглянула на себя в зеркало и очень себе не понравилась. Чтобы хоть как-то украсить свою жалкую физиономию, лихорадочно завязала на голове розовый бант.

Открылась дверь, и большой седой человек обнял меня. Прижавшись к нему, я ощутила родной папин запах – так пахли оставленные им вещи. Он отвел руками мою голову и стал вглядываться в лицо.

– Чем это ты сделала? – спросил он, дотронувшись до моих бровей.

– Ничем, сами так растут.

– Сами... – как эхо повторил отец. – А я тебе карандаши принес, вот... цветные... – он протянул мне коробку.

– Спасибо, папа. – Как странно звучит это слово – «папа».

Нет, я не буду ему говорить, что уже два года пишу масляными красками из его этюдника, оставленного на даче. Что я училась по его работам, копируя каждую картину по несколько раз.

Вошла мама и, глядя на мой розовый бант, улыбнулась.

– Ната, может быть, ты что-нибудь сыграешь? – предложила она.

– Да, что-нибудь, – живо откликнулся отец.

Я послушно пошла к инструменту и стала играть Бетховена «К Элизе». Мне очень не хотелось сидеть к нему спиной. Руки совершенно не слушались и были холодны, как

льдинки, и все-таки я играла с удовольствием, с тем редким чувством, когда не существует нот, отдельных звуков, музыкальная тема словно стекает с рук и глубоко трогает чувства.

Отзвучал последний аккорд, и я обернулась к отцу. Рука его спешно отерла влажные глаза.

– Если бы ты была чуть постарше, я мог бы тебя снять в роли пятнадцатилетней Наташи Ростовской. У тебя её глаза, – неожиданно сказал отец, по-доброму заглядывая мне в лицо. – Да, да, я скоро умру, и тогда все простится, и вам всем будет легче... – стал он говорить, глядя в пол...

– Ну что за ерунда, Сергей, – не выдержала мама.

– Ну, не буду, не буду, – как-то совсем слабо сказал отец.

– Наверное, скоро придет Алеша, – предположила я, чтобы переменить тему.

– Да? – удивился отец. – А что, ты с ним видишься? – и от хандры его не осталось заметного следа.

– Ну конечно, он же здесь живет, – сказала мама.

– Вот как. Здесь? Я не знал... – на лице отца появилась жесткая складка у губ. – Испорченный парень, хулиган какой-то, без разрешения включает проигрыватель, кривляется, совершенно невоспитан...

– Не тебе говорить о его воспитании, – заступилась мама.

– Пойдем, – неожиданно схватил меня за руку отец, – пойдем, там меня ждут внизу, там машина, мы поедем ко мне сейчас...

– Но Алеша, он придет, – пыталась я остановить отца.

– Не надо Алешу, пошли, поедем ко мне.

Отец суетливо подбежал к двери, открыл, потом снова схватил меня за руку и потянул за собой. Слезы душили меня, мне было страшно смотреть на изменившееся лицо отца. Увидев мои слезы, мама обняла меня за плечи и закрыла от отца.

– Ну пойдем, пойдем, – и он двинулся ко мне.

– Папа, что же ты со всеми нами делаешь? – внезапно вырвалось у меня. – Ты же не сможешь быть счастлив без нас...

– Пойдем, пойдем, – твердил отец.

– Нет, я не пойду с тобой, – сказала я и ушла из комнаты.

Отец уехал.

«Что, что это было? – проносилось у меня в голове. – Моя встреча с отцом, которую я так ждала. Он говорил, но о чем? О том, что скоро умрет, что мы будем рады, он говорил только о себе, почему же у меня он ничего не спросил?»...

Вошла бабушка и протянула мне куклу в голубом платье:

– Вот это он в прихожей оставил... для тебя, – неуверенно добавила она.

Я взяла куклу, и вдруг глаза ее упали внутрь. Я смотрела на обезображенное кукольное лицо, и мне хотелось кричать от обиды... как кричат маленькие дети.

Неожиданно передо мной появился Алексей.

– Дверь была не заперта, а где отец?

– Он уехал, Алеша, – сказала мама, – он, видимо, очень спешил, – поцеловав меня в лоб, мама оставила нас одних.

Алеша молча рассматривал мое мокрое от слез лицо, стараясь понять, что произошло.

Я посмотрела на брата и увидела в его руках букет незабудок. «Это он отцу принес цветы», – пронеслось у меня в голове. «Плохо воспитан», – вспомнила я слова отца, и слезы хлынули из глаз.

Алексей подошел ко мне и обнял.

– Ну что ты, милая моя сеструха, не переживай так, мы ведь теперь нашлись, мы же есть друг у друга, а он поймет, когда-нибудь поймет, что без нас счастья у него не будет, ведь мы его дети.

– А цветы эти, – сказал он, перехватив мой взгляд, – я тебе принес.

Мы стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели в окно, за ним был город, в котором живет наш отец.

Эти события, преломленные временем, сегодня я воспринимаю совсем по-другому. Я прошла свой собственный путь, и теперь мне легче понять моего отца. Теперь я точно знаю, что все его дети были одинаково им любимы.

Встречи на Солярисе

Накрапывал дождь, глухо стучал по крыше. Нужно было перебежать в соседний дом и отдать книгу. А так не хотелось. Хотелось еще и еще раз пролететь сквозь звезды к мерцающему океану Соляриса, увидеть огромного странного младенца, покачивающегося на волнах космического Разума, встретиться с хрупкой страдающей Хари и вместе с ней прожить странную и прекрасную в своих самоотречении и любви жизнь. Тринадцать лет – возраст особенный: первые записи в дневнике, первые стихи, странные вопросы самой себе: «Что было, когда тебя не было? А что будет потом, когда тебя не будет?» Нужно завязать бант, перебежать дорогу и вернуть книгу.

Молодых шумных людей пригред дачный дом нашей соседки в Ново-Дарьине. Дом находился в вечной разрухе, в нем всегда что-то капало, трещало, жалобно постанывало, и все-таки он всегда приветливо принимал всех, кто в него попадал. Гости рассаживались по табуретам, скамейкам, а счастливчикам удавалось завладеть плетеным креслом-качалкой. Ставился самовар, тонкий смолистый аромат вливался в легкие, на время освобождая от забот и волнений. В этот день Ирина Александровна Жигалко – педагог Михаила Ильича Ромма – пригласила ребят со своего курса режиссерского отделения ВГИКа к себе на дачу, чтобы еще раз обсудить дипломные фильмы. Не имея своих собственных детей, Ирина Александровна пригревала многих поселковых ребят. Дача моей мамы находилась по соседству, строительством и благоустройством дач занимались исключительно женщины, так что соседки жили как бы одной женской коммуной, а я, как переходящий приз, кочевала от одного дома к другому.

– Наташа пришла, – представила меня своим студентам Ирина Александровна Жигалко.

– Вот, принесла, – протянула я свое книжное сокровище.

– Передай Андрею. Он хотел почитать.

Неохотно, из рук в руки, передаю черный томик со светлой полоской – «Солярис» Станислава Лема – молодому человеку, сидящему в моем любимом кресле-качалке. Он, не глядя на меня, берет книгу, покусывая кончики топорщащихся усов и глядя в не желающий разгораться камин. Выглядывает солнце, и одновременно вспыхивает в камине огонь, освещая молодые лица.

Со мной говорили на «вы», предлагали сыграть в настольный теннис. Андрей, Андрон, Василий... Разве тогда, в свои тринадцать лет, я могла заглянуть в будущее и за неясной пеленой дождя увидеть и услышать Тарковского, Кончаловского, Шукшина?..

Я была счастлива детской радостью, что строгий студент с прической «под ежик» говорит со мной на «вы», но все-таки простить его, забравшего мою любимую книгу, я не могла.

Разве я знала тогда, что мы еще встретимся на планете Солярис?

Впервые на Алтае

Сколько времени нужно человеку, чтобы распознать, что он суть более космическое существо, чем земное? Очень люблю сказку Андерсена о гадком утенке. Вот он вылупился из яйца, огляделся и сказал: «А ведь мир гораздо больше, чем я предполагал, когда сидел в яйце».

Думаю, что не раз это с нами со всеми произойдет, когда мы скинем с себя одну из телесных скорлупок.

Впервые я услышала об Алтае и Чуйском тракте от бабушки. В моей детской фантазии переплелись тогда волшебные травы выше всадника на коне, лабиринты таинственных пещер, где сталагмиты и сталактиты таили облики людей и животных, сказания о красавице Катунь и волшебных рогах маралов. Бабушка рассказывала, как, посадив мою маму – ей тогда было семь лет – на лошадь и привязав ее к седлу, она совершала многодневные путешествия по Горному Алтаю и писала очерки в журнал «Сибирские огни».

А. Герман «Путь в Монголию»

Когда попадаешь в Сибирь первый раз в жизни, она оказывается совсем не такой, как ты ее представлял.

Обходя географические сведения, воображение всегда рисовало Сибирь как что-то очень однообразное, суровое, северное, трудно переносимое, малокрасочное. Между тем Сибирь – это грандиозный материк, где есть свой собственный север, свой юг с неимоверно жарким южным солнцем, с переменами климата от высокогорного, как на курортах Швейцарии, до степного, как в ковылях Кубани.

На Чек-Атаманском перевале в Ойротии вы собираете во множестве редчайший альпийский цветок эдельвейс, ради которого швейцарцы рискуют головой, ища его над пропастью. А через несколько часов, в той же Ойротии, вы на границе пустыни Гоби и под вами, через какой-то метр в глубину, вечная мерзлота.

Но вот вы спускаетесь по течению горных рек ниже и ниже, на уровень примерно Железноводска, и тут, в садах Чомала, можете видеть медленно созревающие грозди сибирского винограда.

Нельзя представить себе более красочной страны, чем Сибирь. Даже земля здесь горит, она – «ярь», багрово-малиновая под Красноярском, голубая, желтая, розовая в Кош-Агаче от окисей металла. Даже вода здесь горит: в Кулунде есть озеро цвета рубина – от густой примеси йода.

Книга о Сибири еще не написана, обаяние Сибири еще не раскрыто, это до сих пор «спящая красавица», которую не поцеловало искусство.

Но мы живем в грозные дни войны. И красота земли отступает перед нашим требовательным, критическим отношением к тому, что происходит.

Шестнадцатилетней девчонкой ступила я впервые на алтайскую землю. В дальнейшем путешествие отправились мы с моей тетушкой Ниной, родной сестрой мамы, работавшей в то время редактором в журнале «Сибирские огни», дядей Игорем Малюковым, художником, и моим братом Андреем, который в то время уже учился во ВГИКе на режиссерском факультете у Ефима Дзигана.

Мы добрались до Бийска и далее на автобусе до Чуйского тракта. Выйдя из автобуса в горах и впервые увидев кедры над головой, я ощутила то, что более никогда со мной не происходило. Сильное впечатление от торжественных кедров вызвало во мне какое-то глу-

бинное воспоминание, наполнило душу восторгом. Я почувствовала мощную вибрацию, которая стремительно пронеслась по всему организму и затронула сердце. Из глаз потоком вырвались слезы радости. В сознании пронеслась мысль: «Я здесь была, это моя родина». Состояние неземного счастья продолжалось несколько минут и запомнилось навсегда.

Остановились мы в поселке Элекманар на Чуйском тракте. Еще в автобусе узнали от молодого корреспондента о таинственной местности, где люди сохраняют древние традиции, ходят в старинных одеждах и, что нас с Андреем особенно поразило, даже не знают о существовании советской власти.

Молодой корреспондент хотел прыгнуть с парашютом в эту местность, потому что подъездов к ней никто не знает.

– Может быть, Вы со мной? – с надеждой предложил парень.

– А обратно-то как? – спросила я.

– Обратно?

– Ну да, как мы вернемся?

Видимо, этот вопрос не стоял на повестке дня, главное было – попасть туда. Я представила, какое впечатление окажет наше исчезновение с братом на тетю Нину и дядю Игоря, и мы с Андреем порешили прыгнуть как-нибудь в другой раз.

От Элекманара мы уходили в тайгу на семь-восемь километров, собирая горную клубнику и исследуя пещеры.

Раз забрели на стоянку ойротов, державших овец и коров.

Две белобрысые девчушки шести-восьми лет встретили нас с восторгом. Они спрашивали нас о Москве, о Кремле, о Ленине. Я очень жалела, что у нас не было с собой открыток. Палочкой на песке я рисовала и Кремль, и Мавзолей, и многоэтажные дома. Никак не могла объяснить алтайским девочкам, для чего нужны балконы, домов выше двухэтажных они никогда не видели. Девочки были одни в ожидании взрослых и играли камешками и щепками, выяснилось, что и кукол они никогда не видели.

Младшая ввела меня в дощатый сарай с земляным полом и одной большой деревянной лежанкой, вокруг нас жужжали зеленые мухи.

– Вот, – с гордостью сказала она, показывая на земляной пол и приговаривая, – здесь ляжешь ты...

Старшенькая девочка, видимо, уже сознавая убогость ночлега, вздыхала и опускала глаза.

– А почему же вы в доме не живете? – спросила я, углядев невдалеке хороший, рубленый из лиственницы, дом.

– Так там же змеи, – отмахнулась младшая. И заявила таинственно: – Я сейчас тебя угощу – вкусно!

В жилище стояла длинная долбленная из дерева посудина. Девочка подхватила немывтую банку и залезла с ней по локоть в долбленку. То, что она зачерпнула и извлекла наружу, было желто-беловатое и пахло кислым.

– На, пей, – протянула мне жидкость девчушка.

– А это что?

– Чигень! – сказала девочка и причмокнула губами. – Да пей же.

Понимая, что я с собой делаю, я не могла отказать гостеприимному ребенку и отпила глоток. Это было похоже на перекисшую простоквашу. Много позже я узнала подробности изготовления этого напитка. Когда рождается теленок, кусочек последа закладывается в молоко, и оно стоит и бродит в деревянном сосуде. Ну, впрочем, хорошо, что тогда я не знала эти подробности.

После угощения нужно было что-то похвалить в доме. Я увидела над лежанкой мощный охотничий нож.

– С таким отличным ножом можно и на охоту ходить, – сказала я.

– А папа и ходит, почти каждый день ходит. Здесь рысей много. Они на ветках сидят, – улыбаясь, сообщила младшая.

Домой в Элекманар мы вернулись поздно с полным бидоном горной клубники и золотистой форелью – уловом дяди Игоря.

Много лет спустя, когда я пришла на кинопремьеру брата «34-й скорый», только мне было понятно, куда отправляет свой состав мой брат Андрей.

«34-й скорый» отправлялся по маршруту Москва-Элекманар.

А тогда, в далеком далеке, мы с Андреем поклялись вернуться на Алтай.

ВГИК

Рассказывают, что, когда Сергей Апполинариевич Герасимов впервые взял меня, годовалую, на руки, я, увидев на его груди сверкающую под солнцем звездочку, схватила ее и не желала отпускать. Откуда ребенку знать, что это была Звезда Героя Социалистического труда.

– Вот это хватка, – смеялся Герасимов. Тамара Федоровна Макарова и Сергей Апполинариевич своих детей не имели и подумывали удочерить мою маму. Мой дедушка, мамин папа, умер в тридцать четыре года, и я его не знала, да и фамилии у мамы и Тамары Федоровны были одинаковые. Но после съемок «Молодой гвардии» мои родители расписались и удочерение отпало. Несмотря на близкое знакомство, виделись мы с мастерами нечасто. Но вот однажды маму пригласили во ВГИК в Государственную комиссию на выпускные вечера знаменитой мастерской. И я в тринадцать лет впервые попала во ВГИК. В актовом зале юные артисты играли фрагменты из великих пьес. Я увидела первого в своей жизни Гамлета.

Его играл Сергей Никоненко. Мне досталось место в первом ряду. Милое, такое русское, лицо принца Датского с чуть оттопыренными ушами и пунцовыми щеками покорило мое сердце.

Меня поразили слезы Гамлета – огромные, подсвеченные софитами, они падали прямо на меня. Мне неудержимо захотелось подставить руку и поймать одну из слезинок. Я сострадала юному Гамлету всей своей детской душой.

И еще один образ поразил меня. Безмолвный палач, полуголый, вышел на сцену, съел вареную морковь и, не говоря ни слова, удалился. Но, боже мой, как ему аплодировал зал! Много лет позднее я узнала, что Николай Губенко за очередной инцидент не был допущен к выпускным экзаменам, ему даже запретили играть главную роль в пьесе Брехта «Карьера Артура Уи», но Коля появился в немом эпизоде, и ему выставили отличную оценку в диплом.

Надо было так случиться, что мама задержалась во ВГИКе, и я очутилась в одной аудитории с молодыми актерами – выпускниками. Не помню, что им говорил Герасимов, потому что со мной сидел Сережа – Гамлет! Я вся сжалась от сознания, что сижу рядом с великим актером, с которым мы вместе плакали. Вдруг слышу его шепот: «Девочка, хочешь клюкву в сахаре?» – и Гамлет протянул мне маленькие кругляшки в сахарной пудре.

Я очень любила и люблю клюкву в сахаре, но в тот момент принять клюкву из рук Сережи – Гамлета не посмела.

Поступая во ВГИК на актерский факультет, я дрожала как осиновый лист. К этому дню, впервые в моей жизни, мне сшили в ателье на заказ платье из крепдешина.

Мне было тогда семнадцать лет. Хорошо помню время экзаменов, как волновалась мама (папа ничего не знал о моем решении встать на тернистый путь служения кинематографу).

На отборочных экзаменах нас просили играть этюды, а я уже года три играла в самодеятельном театре и, конечно, знала, что это такое.

В этюде мне досталась роль продавщицы в магазине. Я живо представила себе продавщицу в нашем поселковом магазине и на все просьбы покупателей отвечала обоснованным отказом, занимаясь все время собой и своей прической.

На основной отборочный экзамен по актерскому мастерству, где будут мастера, я приготовила стихи Заболоцкого «Журавли».

Никто не предупреждал, что одновременно со сдачей экзаменов нас будут проверять на фотогеничность, то есть снимать.

Я открыла дверь и вступила в ярчайший свет. Никогда до этого я не снималась и была пригвождена от ужаса к месту. Откуда-то сбоку спросили:

– Так сколько вам лет?

А я молчу. На меня буквально столбняк напал.

– Вам семнадцать? – кто-то из сверкающего мира пытался мне помочь.

– Угу, – все, что я могла вымолвить.

– Ну, прочтите, что вы для нас приготовили, – уже вяло попросил кто-то.

Еще секунда – и меня прогонят. Я зажмурилась и начала читать:

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли...

И тут только я поняла, что мне очень хорошо читать, когда я не вижу ничьих глаз. Более того, я стала четко видеть внутренним взором и журавлей, и черное зияющее дуло, которое поднялось на красоту.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас...
А вожак в рубашке из металла
Опускался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно...

Я закончила читать... Было тихо-тихо, и кто-то сказал: «Спасибо».

Боже мой, сколько ребят поступало, и как мало нас осталось. В первый день учебы, счастливые и взволнованные, мы собрались в мастерской для знакомства друг с другом и мастерами.

Первой встала девочка с длинной русой косой, высоким лбом и светлыми глазами.

– У меня очень смешная фамилия, – сказала она. – Я – Наташа Белохвостикова.

Легкий смехок прошелестел по рядам.

Встала другая девочка со стрижкой и бойко сообщила:

– И у меня фамилия смешная. Я – Наташа Гвоздикова.

Все захохотали.

Поднялась со своего места еще одна девушка с тонкими, необыкновенно выразительными азиатскими чертами лица.

– А я – Наталья Аринбасарова.

Четвертой встала я:

– Меня тоже зовут Наташей, фамилия у меня не смешная – Бондарчук.

Позже наш курс так и прозвали: «Курс четырех Наташ». Курс объединил будущих актеров и кинорежиссеров. На актерском факультете учились: Николай Еременко, Толгат Нигматулин, Вадим Спиридонов, Александр Сныков, Сергей Малишевский, Игорь Вознесенский, Гарри Чирева, Юрий Николаенко, Анатолий Переверзев, Нина Маслова, Надя Репина, Ира Азер, Ольга Прохорова. На режиссерском были Майя Симон, Борис Шадурский, Борис Фрумин, Семен Галкин, Леонид Бердичевский, Валерий Харченко, Ходжа Нарлиев, Роман Виеру, Мухаммед Абуэль Уакар, Александр Рехвиашвили. Вторично учились, уже на режиссерском факультете, Сергей Никоненко и Николай Губенко. В тесном сотрудничестве с Сергеем и Колей я сделала большинство своих работ на сценической площадке.

Учитель

Учитель! Какое великое, всеобъемлющее понятие. Учитель – тот, кто подаст тебе наилучший совет, тот, кто поведет к знанию, тот, кто явится примером, кого считаешь и сердечно любишь. Великий закон, связующий малое с большим, большое с великим, и так – к бесконечности. Герасимов оставил завет своим ученикам: «Художник должен быть одержим идеей усовершенствовать мир».

С детства кинематограф вошел в мою жизнь и стал полноценной ее частью. Фильм «Молодая гвардия», вышедший на экраны в год моего рождения, дал главные устои всей моей жизни и во многом ее определил.

Такие понятия общечеловеческого значения, как верность, преданность, неустрашимость, сопротивление общемировому злу (носителем которого в фильме является фашизм) сразу вошли в мое детское сознание.

Сегодня я спрашиваю себя, а много ли у нас таких картин? Много ли их в мировом кинематографе, где так четко и глубоко выражена идея самоотречения во имя общего блага? И отвечаю: нет, их очень и очень мало! Но как они нужны формирующейся душе! И потому мы должны беречь такие фильмы как сокровище.

Более всего Герасимов ценил качество мысли в классических произведениях, в студенческих работах, в актерской игре. Обучая нас, актеров, он настаивал на первенстве мысли. «От мысли к действию, а не наоборот, – говорил он, – можно внешне ничего не делать, но мыслить, и на это будет интересно смотреть».

Так как отношения между моими родителями не сложились и я на долгие годы потеряла контакт с моим любимым отцом, часть отеческого, так необходимого в юности тепла подарил мне Герасимов.

Герасимов старался привить нам любовь к классическим произведениям, прохладно относясь к любым иным. Мы учились на классике. С конца первого курса обучения нам были доверены такие шедевры, как «Отелло» Шекспира, где в роли Дездемоны выступила Наталья Белохвостикова, и «Мертвые души» Гоголя, где мне довелось в семнадцать лет играть Коробочку, а Коле Еременко – Плюшкина.

Со второго курса мы приступили к работе над «Красным и черным», даже и не мечтая воплотить эти образы на экране, но через пять лет наш учитель поставит спектакль «Красное и черное» на сцене Театра киноактера, а потом и четырехсерийный фильм, где эти же студенческие роли достанутся нам: Наталья Белохвостикова сыграет роль Матильды де ля Моль, Николай Еременко – Жюльена Сореля, а мне будет доверена моя любимая госпожа де Реналь.

К концу второго курса началась работа над романом А. Толстого «Юность Петра».

Помню репетицию и работу с Сергеем Апполинариевичем над ролью царевны Софьи. Он видел ее натурой страстной, мощной, соответствующей самому Петру по силе характера.

Он снимал только то, что хорошо знал и любил, будь то Байкал в фильме «У озера», или уклад дворянской семьи XIX века в романе Стендаля, или то, как готовится тюря в глухой деревне... Настоящее искусство, учил он нас, рождается из правильно подобранных деталей, как мозаичное полотно.

Вместе с ним трудились такие же самоотверженные люди. На «Красном и черном» оператор Роман Цурцумия в каждом кадре добивался тональности, присущей великим живописцам, Элла Маклакова с особой тщательностью создавала костюмы. Все были заняты творчеством, и всех объединял талант учителя.

Зная его удивительный дар чтеца, мне удалось снять учителя в телевизионном фильме-концерте «Медный всадник». Пожалуй, никто, кроме Герасимова, не мог так точно передать пушкинское слово. Он весь был захвачен грандиозностью образов и творил, иногда даже не справляясь с нахлынувшими на него чувствами. Помню, никак не давалось ему одно четверостишие о помешавшемся от горя Евгении:

...К сердцу своему
он прижимал поспешно руку,
как бы его смиряя муку,
картуз изношенный сымал,
смущенных глаз не подымал...

На этих строках Сергей Апполинариевич срывался и рыдал. И только с третьего дубля Герасимов взял «пушкинскую высоту» и прочел эти строки на пределе чувств.

В поисках единственно верной интонации мучился и мой отец. Как коллеги мы стали общаться, когда я заканчивала актерский факультет ВГИКа. Он увидел меня в роли мадам де Реналь.

Боже мой, как волновались мы в эти дни. Единственный раз на сцене ВГИКа мы должны были сыграть пять актов пьесы «Власть тьмы» Льва Толстого, поставленной Сергеем Никоненко, где я играла Матрену, и «Красное и черное» в постановке Герасимова.

Последние пять дней мы буквально не выходили из стен института, репетиции шли за репетициями, и это, конечно, сказалось на спектакле.

Первый акт прошел без помех. Во втором я в образе мадам де Реналь находилась на втором этаже нашей декорации в спальне. Коля Еременко – Жюльен Сорель – должен был подняться сзади меня по ступенькам лестницы. И вот все идет хорошо, я слышу скрип лестницы, сейчас Коля проникнет в спальню и начнется его монолог о любви, я буду упорствовать, обращаться к Богу, но потом сдамся, а затем присутствие Жюльена Сореля заметят и в него будут стрелять.

Я стояла в одной белой рубашке и ждала страстных слов Сореля, но вместо них услышала какие-то всхлипы. Я обернулась и увидела, как у Коли Еременко хлынула носом кровь и прямо мне на белую рубашку. Первые ряды это заметили и ахнули, но зал ждал. В мыслях промелькнуло: «...Экзамен! Один раз в жизни...». Я развернула Колю от зала и стала его гладить по лицу, пытаюсь унять кровь, а второй рукой я перекрыла кровавый участок рубашки и стала что-то говорить... Я сочиняла текст за Стендаля, говорила, что люблю его (Сореля), но не могу принять, говорила часть текста Жюльена и сама же ему отвечала. Напряжение росло, в зале тишина и полное внимание. Но вот Коля заговорил, сначала тихо и слабо, потом все сильнее. Так мы не играли никогда в жизни.

Многие из зрителей рассказывали, что в зале не было сухих лиц, все плакали, сострадая нашим героям. Занавес закрылся – антракт. В антракте пришел Герасимов, обнял меня и Колю, вызвали «скорую». Но после антракта мы доиграли спектакль.

Я знала, что среди зрителей был мой отец. Сергей Федорович впервые видел меня на сцене. После спектакля он обнял меня и заплакал, долго не отпуская от своей груди. Так и стояли мы вместе, отец и дочь... Вспомнились строчки моей любимой Марины Цветаевой.

Жестока слеза мужская:
Обухом по темени!
Плачь, с другими наверстаешь
Стыд, со мной потерянный.

Одинакового
Моря – рыбы! Взмах:
...Мертвой раковиной
Губы на губах.

* * *

В слезах.
Лебеда —
На вкус.
– А завтра,
Когда
Проснусь?

Тогда же во ВГИКе у нас с папой состоялся первый серьезный разговор об искусстве, о моей роли. Кажется, он почувствовал во мне актрису. И все же меня не покидало ощущение, что ему тяжело смотреть на меня, повзрослевшую без него. И еще я почувствовала любовь и сердечность и постепенно начала освобождаться от своей боли. Наши отношения всё росли, вплоть до самых откровенных бесед, в которых всегда ощущалось его трепетное отношение ко мне.

Много позже, после ухода отца из семьи, я, выступая однажды в Киеве перед зрителями, рассказывала о нем, и, наверное, столько во мне было нежности, что потом вышла женщина моих лет и произнесла, вытирая слезы: «Вы так говорили о своем отце, что я только сейчас, послушав вас, окончательно простила своего».

Я счастлива, что у меня были моменты истинного контакта с отцом, которым ничто не мешало. Даже между родными людьми иногда возникает напряжение, не сразу подбирается тон разговора... а мы – как будто вечно существовали вместе, и не было этого разрыва...

Встречи на Солярисе-2

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине...

1 Кор. 13: 4-8

Тихонько потрескивали лампы. Слепящий свет «юпитера» мешал видеть лицо режиссера, но помогал отстраниться, стать по ту сторону бытия, где впервые пыталась говорить с людьми Хари.

– Не перебивайте меня, я все-таки женщина! – умоляла я слепящий свет, откуда, не совсем правильно выговаривая звук «л», подавал реплики режиссер.

– Да вы не женщина и не человек, поймите вы... Хари нет. Она умерла. А вы только ее повторение. Механическое повторение. Копия! Матрица!

Как тепло на меня смотрит Донатас Банионис. От доброго, участливого взгляда сами собой текут слезы.

– Да, может быть... Но я становлюсь человеком, и чувствую я несколько не меньше, чем вы... Поверьте!

Конец пробы. Гаснет свет. Сонм лиц, кто-то что-то говорит, поздравляет, утешает, но я все еще там, я что-то не сказала... кажется, главное... По-прежнему текут слезы. Режиссера в павильоне нет. Меня уводят в гримерную.

В напряженном ожидании день, два, неделя, и, с беспощадностью сухой информации, – не утвердили!

И снова «Мосфильм». Маленькая комната с фотографиями актеров. Ласковые, сосредоточенные глаза на прекрасном женском лице. Она говорит со мной так, как будто знает всю жизнь, а еще мне кажется, что она и впрямь знает всю жизнь наперед – и свою, и мою... И где-то там, впереди, что-то прервется, чтобы жить вечно.

– Я видела твои пробы у Андрея, он очень хорошо отзывался о тебе, – ласково говорит со мной, неудавшейся Хари, Лариса Ефимовна Шепитько. Видимо, заметив следы недавнего отчаяния, добавляет: – Он и сам бы тебя снимал, да ты слишком молода для этой роли. Прочитай сценарий, – вложила она мне в руки тонкую книжку под заглавием «Ты и я».

Лариса утвердила меня на роль Нади без проб, доверяя своему другу Андрею.

Мало кто знает, что сценарий, написанный Ларисой Шепитько и Геннадием Шпаликовым, кристаллизовался под влиянием личности Тарковского, что это был фильм о нем самом, о его поиске истины в творчестве. Лариса распознавала и более всего ценила талант в людях. Как она говорила: «До него ангел дотронулся». В чем-то главном Андрей и Лариса были очень похожи. Они были если не единомышленниками, то едино чувствующими людьми, их искусство вне времени, ибо оно только для души, души страдающей, души верующей.

Человек един в творчестве и в жизни. С первых дней в искусстве Лариса шла к «Восхождению», так же как Андрей – к своему «Жертвоприношению».

– Наталья, наш материал смотрел Тарковский. Он снова хочет попробовать тебя, – как-то по-домашнему сказала Лариса. И добавила тихо: – Я верю, что эту роль будешь играть ты!

И снова жужжат осветительные приборы. Спокойно и весело ладит свою кинокамеру «Родина» Вадим Иванович Юсов. И снова я на планете Солярис, где Хари пытается защитить своего любимого:

– А Крис меня любит?! Может быть, он не меня любит, а просто защищается от самого себя... Это неважно, почему человек любит, это у всех по-разному...

– Хорошо! Молодец!

И впервые Тарковский смотрит на меня не отчужденно, а как-то радостно и спокойно. И тут же начинает давать указания гримерам, как должна выглядеть Хари, и художникам по костюмам, в каком платье должна быть героиня «Соляриса». Так началась работа над фильмом. Здесь же, в павильоне, была Лариса Шепитько. Она обняла меня.

– Ну, вот я и вернула тебе твой подарок, Андрей, – шутливо сказала она и тихо, только мне одной: – Я верила, что так будет!

Спасибо тебе за эту веру, Лариса.

Когда-то я уже это видела в каком-то сне или наяву: летящую навстречу дорогу, розовым цветом подернутые абрикосовые деревья и море, сливающееся с небесами. Потом, много лет спустя, я услышала слова об этом чувстве, слова мальчика из фильма Тарковского «Зеркало»: «Как будто это уже было все когда-то». Так казалось мне, когда впервые вместе с киностудией «Соляриса» мы переехали через перевал и нас встретила весенняя Ялта. Не успев забросить чемоданы, все дружно отправились к морю. Тарковский был весел и неутомим в рассказах. Он дарил друзьям Ялту, дарил чудный день, море. Он настоял, чтобы была снята ярмарочная ялтинская фотография, с обязательной фразой «Привет из Ялты!» Он шутил, даже пел, радуясь, как ребенок, что снова, после шестилетнего «простоя» – у любимого дела.

– Иудино дерево цветет, – неожиданно произнес он, застыв у небольшого дерева с пряно пахнущими сиреневыми цветами.

Видя мое удивление, объяснил:

– Вот на каком дереве повесился Иуда. – И как бы самому себе добавил: – Только тогда оно, наверное, не цвело.

И вдруг стал читать стихи:

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник,
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник...

Кто-то из группы услужливо спросил:

– Это ваши стихи, Андрей Арсеньевич?

Тарковский засмеялся и неожиданно всерьез ответил, глядя прямо в глаза собеседнику:

– Если бы я мог писать такие стихи, я бы никогда не снимал. Это стихи Бориса Пастернака.

А на другой день киностудия отправилась к декорации, которую должны были приготовить месяц назад. Выяснилось, что в ней масса недоделок.

Тарковский внимательно обследовал каждый угол декорации, страдальчески морщась при виде халтуры. Сколько подобных недоработок было почти во всех съемочных группах, в которых мне приходилось работать. И всегда начинались съемки в надежде на «потом», в надежде на доделывание, но только у Тарковского нельзя было начать съемки, если что-нибудь не соответствовало его планам. Он мучил себя и других, но всегда добивался полной готовности.

– Снимать не буду! – резко ответил он своему директору, а на его жалобы прибавил: – У вас был месяц, и вы ничего не сделали. Халтура.

На обратном пути молчал, нервно кусая ногти. И вдруг, взяв газету «Правда», расхохотался.

– Послушайте, что про нас пишут: «Тарковский начал снимать свой фильм “Солярис”. У Мыса Кошки к небу устремились серебристые ракеты. Астронавты Донатас Банионис и

Наталья Бондарчук готовы занять свои места. Их ждет Космос». Ну, все «правда», – хохотал Тарковский. – Мыс Кошки и ракеты! Эй, астронавты, там местечко для меня есть, чтобы улететь к...?

Съемки начались через две недели... Комната Кельвина, за окнами живой океан Соляриса. Напряженные поиски внешнего облика, репетиции – и снова съемки. После съемок – совместные с группой вечера.

Тарковский был внушаем и тяготел ко всякой мистике и к пророчествам. Рассказал однажды, что был участником спиритического сеанса и что ему удалось вызвать, как он считал, дух Пастернака и спросить его:

– Сколько картин я поставлю?

– Семь! – был дан ответ.

– Так мало? – спросил Тарковский.

– Семь, зато хороших! – сказал дух великого поэта.

Он поставил семь картин: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение».

К лету 1970 года картина «Солярис» раскинула свои отливающие металлом и разноцветием контрольных ламп космические коридоры в павильоне «Мосфильма». Декорации к фильму были созданы прекрасным художником, другом Тарковского, Михаилом Ромадиным. Тарковский не терпел бутафории, добиваясь от каждой детали образа. Так в холодной функциональности космического бытия возникли трогательные островки духовности, живые миры людей, добровольно покинувших Землю ради вечного поиска вселенского Контакта.

В комнатах космических отшельников, ведущих эксперименты над собственной душой, должны были быть самые дорогие их сердцу предметы. Так, благодаря настойчивым требованиям Тарковского, в комнате Гибаряна появился старинный армянский ковер ручной работы. Очагом земной жизни, жизни человеческого духа стала библиотека. Парадоксальность появления в космосе старинной мебели, свечей в бронзовых подсвечниках, свтящихся витражей и картины Брейгеля подчеркивала тяготение людей к земному.

– Нам не нужен никакой космос, нам нужно Зеркало! – проповедует добрый и несчастный Снаут, блистательно сыгранный Юри Ярветом.

Роман Станислава Лема и фильм Андрея Тарковского отличаются в главном: Лем создал произведение о возможном контакте с космическим разумом, а Тарковский сделал фильм о Земле, о земном. В конструкции его «будущего» основными проблемами неизбежно остаются проблемы человеческой Совести, вечная оплата грехов человеческих, которые, материализуясь, предстают перед героями «Соляриса».

Искусство земных художников, вливаясь в сознание космической матрицы живого человека, какой является моя героиня, формирует ее человеческую, обреченную на страдание и любовь душу. Посмертная маска Пушкина, фолианты старинных книг, фарфоровый китайский дракон – детали, глубоко продуманные Тарковским, наполняют космическую героиню Земным Теплом, светом земной Культуры.

Андрей Арсеньевич редко репетировал с актерами до съемок, но к решающей сцене в библиотеке подводил нас, начиная с кинопроб. Его работа с актерами была построена на тонких вибрациях подсознания, трудно уловимых сторонним наблюдателем. Неожиданно во время репетиции он подходил ко мне и решительно останавливал мой трагический пафос, казалось бы, абсурдными замечаниями:

– Понимаешь, она говорит, как будто хлопает старыми дверцами шкафа. Слова не имеют значения. И вообще, умоляю тебя, ничего не играй!

Настраивая меня на длинные крупные планы, Тарковский тихонько наговаривал, как деревенская бабка-вещунья:

– Не играй, не играй, живи, дыши. Представляешь, как это прекрасно, ты сейчас живешь, хлопаешь ресницами, вот улыбнулась сама себе...

Через минуту шла команда: «Мотор»!

Совсем по-другому Тарковский работал с Анатолием Солонициным, доводя его до крайнего перевозбуждения, физического переутомления, часто ругал его, что для Анатолия, обожавшего Тарковского, было невыносимо. Но когда у Толи появлялись слезы на глазах и вся его суть приходила в движение, Тарковский начинал снимать. Подобное выведение подсознательного я видела только еще у одного киномастера, любимого режиссера Андрея Арсеньевича – Брессона. В фильмах «Дневник сельского священника», «Мушкетт» актеры не играют, а медитируют перед кинокамерой. Все внешнее убрано, разговор ведет душа. Это не значит, что Тарковский вносил на площадку дух мистицизма, наоборот, он как будто мешал актерам сосредоточиться на «идейном содержании роли», сбивая фразами типа:

– Играй гениально! У меня сердце болит от твоей игры.

Раннее замужество

К моим девятнадцати годам я уже успела выскочить замуж. Именно не выйти, а выскочить. Все друзья отговаривали меня от такого поспешного решения. Но я, к сожалению, всегда и во всем была и, наверное, остаюсь максималисткой, и первое же чувство приняла за «вечную любовь». И испортила человеку жизнь, причем хорошему человеку. Мой первый муж для многих женщин был бы идеальным мужем. Добрый, внимательный, любящий, что еще нужно? Правда, очень ревнив. Стоило мне сесть за стол в ВГИКе к своим ребятам по курсу, у него тут же портилось настроение, он ничего не говорил мне, да этого и не нужно было. Настроение портилось и у меня. И все же... мы любили друг друга и были почти счастливы целых полтора года.

Мужу

Я голову твою держала на коленях,
И плавал запах леса и цветов.
Земля держала нас законом притяженья,
Но нет закона
Выше, чем любовь.
Случилось чудо, мы могли летать,
И плавать в воздухе, и растворяться,
И гриву облаков любимого ласкать,
В поток волос душистых устремляться.

16 июня 1969 года

И совсем другие стихи, полные юношеской нетерпимости – ему же.

Отпусти меня в ясную даль.
Не хочу больше быть в тесноте,
И угрюмости стен и печаль мою
Отдаю за бесценок тебе.
Мне не нужно отвернутых лиц,
Безучастьем, безверьем пропитанных,
Убаюкивающих мертвецов, ясновидящих,
В меру упитанных...
Я прорвусь сквозь завесу теней,
Обретя себя в яростном свете,
Ускакав на лихом скакуне,
Растворившись с мечтой на рассвете.

12.11.1970. Репино

Страданье – искупление зла
Прожитых дней, ушедших веж
И жизни всей...
Как дань природе, одарившей на
Разорение себя —
И страсть, и муку породившей,

И поглотившей всю себя.

24 февраля. Ретино

В этих пропитанных болью строчках выливалась трагедия моего юношеского миропонимания. Вспыхнула яркой звездой другая любовь и поглотила все...

А.Т.

Как мне глаза твои увидеть,
Как мне почувствовать твой вздох
На расстоянии, не увидеть

Твоих неразрешенных снов,
С какою силою связаться..?
Преодолеть пространство дней,
Предстать. И кинуться в объятья
Судьбы и мудрости твоей.

Как-то Андрей Арсеньевич мне сказал: «Настоящая любовь не бывает безответной, иначе она не настоящая».

Звонок. Пригласила к себе Лариса Ефимовна Шепитько. Иду с радостью. Идти недалеко, дома рядом. Пришла, встречают Элем Климов, муж Ларисы, и Андрей. Это он попросил Ларису позвать меня в гости. Сели за стол, немного выпили, читали стихи. Вышли с Андреем в соседнюю комнату. Я села в кресло. Он долго на меня смотрел, потом быстро ко мне подошел, неожиданно встал на колени и уткнул свое лицо в мои. Признался, что любит меня уже целый год, нежно и преданно. Я сняла с себя цепочку с моим знаком зодиака – Тельцом, которую подарил мне мой отец, и надела на него, и еще вручила Андрею самую дорогую для меня иконку Владимирской Божьей матери. Эта иконка всегда висела над моей кроватью.

Сели за стол. Выпили немного коньяку. А в висках стучало: что дальше? Уйти к себе я уже не могла... Верно почувствовав мое настроение, Лариса Ефимовна пригласила меня в свою спальню. Она говорила откровенно, пытаясь оградить меня от несчастья. Тепло говорила о моем муже: «Ты еще не в том возрасте, когда можешь оценить хороших людей», – эта фраза запомнилась мне навсегда. «И у Андрея, и у тебя чувства пройдут, он несвободен, так же, как и ты».

Андрей поставил пластинку Баха, музыку из «Соляриса», которую я так любила. Я прошла в ванную комнату. В зеркале я увидела свое лицо, лицо Хари – женщины, которая любила, но у которой не было ни единого шанса на счастье с любимым, ни единого... И чтобы спасти его от безумия... взгляд мой упал на оставленное лезвие бритвы... чтобы спасти всех нас от безумия... нужно уйти, немедленно уйти из жизни. Я схватила бритву и рубанула себя по венам, боль заставила меня прийти в себя... Где я? В доме у Ларисы... нет, нет... только не здесь... Продолжая сжимать рукой лезвие бритвы, я выбралась из ванны, закрыв длинным рукавом свою раненую руку.

– Мне нужно идти.

– Сейчас? – спросил Андрей Арсеньевич. – Но почему сейчас?..

– Мы только начали ужинать... – весело сказал Элем Климов и взял меня за руку. Предательская кровь хлынула на ковер. – Это что еще такое? – нахмурился Элем...

– Ну, началось, – схватился за голову Андрей. – Кому и что ты хочешь доказать?.. Это же несерьезно...

Последние его слова затмили мой разум. Пограничное состояние, вызванное мучительными съёмками, переживания вспыхнувшей любви... Нет, это было серьезно. Серьезней не бывает. И я рубанула бритвой по венам так, что фонтан крови взметнулся к стене и обрызгал ее – боли я уже не почувствовала... Климов отпустил мне весомую и вполне заслуженную оплеуху, вырвав лезвие, Лариса немедленно завязала руку полотенцем. Они что-то обсуждали, но я уже не могла их слышать... Дальше я видела происходившее как бы со стороны. Зима... мы идем по ночной Москве, везде сугробы, куда-то делся Андрей, я стала его звать... яростно, с болью... Он появился, прижав меня к себе, так мы дошли до врача...

Я по-прежнему не чувствовала боли... И тогда, когда накладывали шов на локтевом сгибе... Позже я узнала от врача, что это было пограничное состояние разума... еще немного – и безумие...

Дома узнали обо всем, прочтя мой дневник. Мой муж тоже прочел, он попытался поговорить со мной, но я не дала. Так, мгновенно, он стал для меня чужим... Больше всех негодовала бабушка... Как я посмела покуситься на свою жизнь... Она любила меня всей душой, всем сердцем и восприняла мой поступок как предательство...

Да так оно и было. Теперь, взрослая, я понимаю: почти еще детей толкает к суициду максимализм. И временное безумие, очень опасное. Своим поведением я могла сразу погубить многих: Тарковского, Ларису, Климова, мою семью... Сейчас почти всех участников этих событий нет в живых. Но я прошу у них прощения.

Мое жалкое человеческое сознание, цепляясь за жизнь, искало выхода и нашло. Я решила креститься. Тайно. В советское время крещение могло привести к концу карьеры. Ведь нужно было предъявлять паспорт, и это тут же становилось известно «инстанциям».

А где взять крестик? Его просто негде было купить, в советское время они не продавались, так же как и Евангелие. Я обратилась за помощью к Ипполиту Новодережкину. Он был художником у моего отца на картине «Судьба человека», работал с Тарковским над «Рублевым». Он внял моим мольбам и приготовил маленькую формочку для креста, я отдала ему свое золотое колечко – и вскоре крестик был готов. Для крещения я выбрала храм в Переделкине. Эту церковь я очень любила. На кладбище рядом покоились Борис Пастернак и Корней Чуковский.

Ипполит Новодережкин и стал моим крестным отцом. Рыжеволосый священник с добрыми глазами совершил таинство. Для взрослых в храме была купель-бассейн, я вошла в него, сама три раза окунулась и прочитала молитву. После миропомазания причастилась...

Не знаю, что все это значило для моей души, но и сегодня считаю, что это был самый правильный шаг к спасению.

А пока сами собой слагались пропитанные болью строки.

Мне снился голос твой, и слезы
Текли из сном одетых глаз.
Всё разрешающие грезы,
Все разрушающий соблазн...

Апрель, 1972 год

За окном шел густой мокрый снег.

– Я всем приношу несчастье, – тихо сказал Андрей. – И тебе!

За этими словами была безысходная боль и ответственность за людей, которые верили и шли за ним. Тем временем Госкино начало свою атаку на «Солярис».

Фильм получил 32 замечания, и вот уже полгода его не выпускали на экран, даже на премьерный показ. Я пыталась возразить, убедить Андрея, что главное счастье – это сама работа, но он не дал мне говорить.

– Почему, почему они так меня ненавидят?

Художник и работодатели. Вечен их конфликт. Кинорежиссер, обреченный на кинопроизводство, полностью зависит от работодателей. Не участь долгого лежания фильма «на полке» так волновала Тарковского, а многолетнее ожидание нового дела.

И все-таки премьера состоялась: вначале в малых залах «Мосфильма», а затем в Доме кино. На один из просмотров пришел Сергей Федорович Бондарчук. Очень часто впечатление от фильма усиливается или уменьшается от того, с кем ты находишься рядом во время просмотра. В этот день со мной впервые смотрели фильм Донатас Банионис и мой отец. После первых же моих сцен отец крепко сжал мою руку и тихо произнес:

– Хорошо.

Тарковский, словно проверяя самого себя, вглядывался в мокрые от слез лица Донатаса и Сергея Федоровича. Это был какой-то странный и счастливый для меня день. После просмотра отец обнял Тарковского и поблагодарил за те чувства, которые вошли в него вместе с «Солярисом». Они шли по длинным мосфильмовским коридорам. Может быть, это наивно и не нужно, но мне всегда хотелось соединить тех, чье творчество я любила. Мне было больно от сознания, что всегда находятся люди, несущие ложь, сплетни, плетушие интриги, настраивающие художников друг против друга. Это они «сочувствовали гению Тарковского» и внушали, что все у него «украл Герасимов» и использовал в своих фильмах. Как будто можно украсть душу...

Тарковский был раним и внушаем, многолетние невзгоды усиливали его болезненную подозрительность, на которой ловко играли прилипшие к его судьбе люди.

Но в тот далекий день Андрей был открыт и счастлив одиночувствованием, пониманием, таким редким для него приятием его труда. Мы остановились на лестничной площадке. Отец с тревогой спросил меня:

– Что же ты будешь играть после такой роли? Я не знаю таких ролей.

– А я знаю! – выдохнула я.

Тарковский улыбнулся, и, приняв это как одобрение, я произнесла:

– Вам нужно снимать вместе фильм по роману Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Еще не придя в себя от гипноза-просмотра «Соляриса», отец закивал головой.

– Да, это было бы прекрасно, прекрасно.

Тарковский улыбнулся и сказал:

– Можно и не по роману, можно снять фильм о самом Достоевском.

Канны

К маю 1971 года фильм «Солярис» был отобран для участия в конкурсном показе Каннского кинофестиваля. Знаменитая набережная французского курорта – Круазетт – встретила нашу маленькую делегацию разноголосицей отдыхающей публики и толпами зевак. Тарковский выискивал в толпе интересные типажи, радовался всему необычному, яркому. «Посмотрите, как он счастлив!» – неожиданно восклицал Андрей Арсеньевич. Его взор выхватил из потока машин хрупкий старый велосипедик и восседающего на нем, как на троне, пятидесятилетнего мужчину с шапкой светлых выющихся волос. Круглое лицо его обрамляла широченная русая борода, увитая полевыми васильками, он смело лавировал в сплошном потоке машин и во весь голос пел песню.

Наступил конкурсный день. Еще утром журналистам по радио было сообщено, что вечером зрителям будет показан фильм «Солярис» Андрея Тарковского – основного претендента на главный приз фестиваля.

Выйдя из отеля, мы увидели, что огромное число машин и толпы людей загораживают подъезд к просмотровому залу, и решили пробираться пешком. Неожиданно пролился светлый грибной дождь. Единственный смокинг Андрея и мое вечернее платье оказались под угрозой. Впереди, куда ни кинь взгляд, шевелилась толпа. Положение становилось критическим – мы явно опаздывали. Помощь пришла неожиданно, со стороны принцессы Монако. Как только бесчисленные зрители увидели машину с принцессой, они невольно расступились, и мы, взявшись за руки, побежали.

Наверное, это были наши самые счастливые мгновения, пережитые вместе. На душе было легко, как бывает только в светлом сне, казалось, еще мгновение – и мы полетим или превратимся сами в сверкающие капли дождя. Мы бежали, как дети, не для того, чтобы куда-то успеть, мы бежали, чтобы продлились эти мгновения полного счастья. К началу церемонии мы успели.

В зале рассаживалась чопорная публика, нас усадили на балконе, откуда просматривался весь зал. Перед началом демонстрации фильма мы встали – Тарковский, Банионис и я. Раздались вежливые жидкие хлопки. Просмотр начался, и вместе с ним начались наши муки. Мы с ужасом прислушивались к дыханию зала: поймут ли, не покажется ли наш фильм чересчур длинным, скучным, ненужным. И действительно, первую часть публика смотрела не очень внимательно. Единственный раз аплодисменты отметили страшный образ бесконечного туннеля дороги будущего. Но со второй части началась магия воздействия картины, и мы все это почувствовали. И снова на экране моя героиня защищает любимого. «Но я становлюсь человеком и чувствую нисколько не меньше, чем вы, поверьте, я... я люблю его, я – человек!» Неожиданно раздался смех в зрительном зале, потом хохот, шум, возня. У меня оборвалось сердце. Только после показа мы узнали, что группа гошистов, проникнув на просмотр советской картины, решила таким образом сорвать показ, и, пока их не вывела полиция, юнцы продолжали бесчинствовать. После окончания фильма раздались дружные овации и началась основная пытка. Нас окружила плотная толпа журналистов и фотокорреспондентов. «Терпи», – прошептал мне Андрей Арсеньевич. Почти теряя сознание, подерживаемая Тарковским и Банионисом, я кожей ощущала натиск людских волн, едва сдерживаемый полицией. Журналисты дружно кричали: «Смайл! Улыбнись!» – и гоняли нас по лестнице вверх и вниз.

Фильму присудили Специальный приз международного Каннского кинофестиваля. Он назывался «Гран-при спесьяль де жюри» – «Большой специальный приз жюри». Мне казалось, что Тарковский будет счастлив одержанной победой, но я ошиблась. Он был удручен, обижен, как ребенок, что фильму не дали первую премию, обвинял жюри в явной

подтасовке. Доброжелательный бизнесмен Сергей Гамбаров объяснял Тарковскому, что так бывает почти всегда на Каннском фестивале: первую премию дают только коммерческому фильму, а вторую получали в свое время Антониони, Феллини... Андрей не хотел слушать объяснений, мучительно переживая эту, как он считал, несправедливость.

Сергей Гамбаров, долгое время живший во Франции, был главным инициатором приглашения нашей картины в Канны, он опекал ранимого Тарковского. Сергей пригласил нас с Андреем в самый известный ресторан. Его стены украшали фотографии победителей Каннского фестиваля, и тут же на стенах были их автографы. Мы тоже расписались. И подняли бокалы шампанского за наш фильм... Андрей наклонился над ухом Гамбарова и сказал по-французски: «C'est ma femme». («Это моя женщина». – *Прим. ред.*) Сергей посмотрел на меня, неловко улыбнулся, и в глазах его я заметила слезы.

К концу нашего пребывания во Франции мы узнали, что «Солярис» получил еще Приз протестантской и католической церквей, и это немного успокоило Тарковского. В дни фестиваля я видела, как к Андрею Арсеньевичу льнут эмигранты. Его приглашали в частные дома, открыто заявляли, что поддержат его творчество, если он останется во Франции. Тарковский отвечал на эти предложения корректно, никого не обижая, с юмором, тревожно вглядываясь в лица эмигрантов. «Бедные, бедные, – говорил он, – лишить себя всего». Одна эмигрантка, услышав наш разговор, воскликнула: «Вы не можете себе представить, как за семь лет изменился язык, есть слова, которые мне неизвестны». И заплакала. Позже я спросила Тарковского, что за семь лет могло измениться в русском языке? «Многое, – ответил он, – очень многое. Ведь живой язык вечно дополняется, видоизменяется, нам это незаметно, а люди, вырванные из языковой сферы, это ощущают».

В аэропорту мы немного задержались, чтобы купить духи, вбежали, запыхавшись, в салон самолета и увидели красные, возбужденные лица сопровождавших нас в поездке людей. «Они решили, что мы остались», – тихонько смеялся Тарковский. «Как это – остались?» – ужаснулась я от такого предположения. «А так. Они думают, что я могу остаться. Абсурд. Я не смог бы ни жить, ни работать здесь, на Западе. Только дома, – и, неожиданно переключившись на полет, Тарковский с ужасом произнес: – Лучше б на телеге везли, честное слово. Человек не летает и не должен этого делать».

В аэропорту нас встречала Лариса Тарковская с маленьким Андрюшей на руках. Андрей поцеловал сына и обернулся ко мне... Глазами попрощался и... всё.

Явись, пророк души моей!
Ты мне откроешь жизнь людей,
И страсть, и муки вдохновенья,
Прорвешь усталость серых дней,
Откроешь тайну Воскресенья,
Весь смысл природы с дня творенья...
Огнем заменишь жизни тленье
И бросишь яростно в костер
Вселенских бурь, безумств прозренья
Пройдя сквозь гордость отрешенья,
И в мыслях не найдя покор
Судьбе, природе, жизни целой...
Узрев твой облик на земле
И обрета тебя в себе,
Я жизни цвет отдам тебе.

Апрель, 1972 год

Встреча с Бурляевым

С Николаем Бурляевым нас познакомил кинематограф. Снимаясь у Ларисы Шепитько в фильме «Ты и я» в городе Норильске, я увидела фильм «Мама вышла замуж» режиссера Мельникова, где роль строптивного и трогательного подростка блестяще сыграл Николай Бурляев. Всем, кто видел фильм, запомнился момент, когда в магазине на последние гроши Колин герой покупает 75 граммов колбасы, а милая девушка-продавщица спрашивает у него: «Вам кусочком или порезать?».

– Куском! – отвечает ей голодный, как волк, парень.

Господи, как мне захотелось пригреть этого строптивного худого мальчишку и, главное, накормить досыта.

Позже, снимаясь в «Солярисе» у Тарковского, я увидела Колю в «Рублеве», в роли колокольных дел мастера, для меня этот образ и сам Коля навсегда слились с образом Тарковского. А Николай, увидев меня в «Солярисе» в момент просмотра фильма, неожиданно заявил своему другу Василию Ливанову: «Эта женщина будет со мной».

А вот реальная наша встреча произошла в Киеве на съемках картины «Как закалялась сталь», где нам было предложено сняться в главных ролях.

Конечно, главной темой для разговоров был кинематограф и Тарковский.

Николай только что снялся в фильме Алексея Баталова «Игрок» по Ф.М. Достоевскому. А я ему рассказывала, что однажды Андрей Тарковский, вспомнив о Николае, вдруг сказал: «Конечно, Бурляев должен был бы сниматься у меня в роли “Подростка”, по Достоевскому». Эту идею подхватил Вадим Юсов, который очень хорошо к Коле относится.

– Вряд ли бы это допустила Лариса Павловна, – заметил Николай.

Как мы позже выяснили, много было сделано, чтобы разрушить дружбу Тарковского и Бурляева. Наши отношения развивались бурно, и очень скоро Николай стал для меня очень близким и дорогим человеком. Готовясь к фильму, мы оба должны были хорошо освоить верховую езду. Под Киев был переведен Алабинский конный полк, который в свое время создал мой отец специально для съемок «Войны и мира».

Однажды Николай предложил мне конную прогулку. Конечно, мне хотелось выглядеть романтично. Я надела белоснежную тонкую кофточку и обвязала волосы алым шифоновым шарфом, который обязан был развеваться, как у лихой наездницы. Правда, на лошади я сидела достаточно редко, только на занятиях во ВГИКе, но Коле, конечно, об этом не сообщала.

Нам дали хороших лошадей – семилеток, и мы выехали в чистое поле. Попробовали идти легкой рысцой. Хорошо. Весна, степь, ковыль – красотища. Мой алый шарфик развевается на ветру, рядом смелый джигит... а тут... коровы идут.

Моя лошадь, испугавшись коров, метнулась в сторону. Левая нога тут же соскочила со стремени и... лошадь в галоп, а я сижу на ней безвольным кульком и совершенно ей не управляю. В моей голове пронеслось: «Если она на этом же галопе внесет меня в конюшню... мне конец. Совсем недавно я видела разбитую голову солдатики, которого вот так же внесла в конюшню лошадь, значит, необходимо соскочить с лошади... страшно». Перед глазами – копыта и земля, потому что я уже вишу вниз головой где-то под пузом лошади. Боковым зрением я увидела речку. Мелькнула мысль: «У воды лошадь может остановиться», но натянуть повод не удастся, и вот он, еще один кособок, я отпускаю повод и лечу куда-то. Больно стучаюсь о твердую землю, потом еще и качусь куда-то вниз и – всё... покой и отдаленные крики солдатиков: «Актриса разбилась, актриса разбилась»... А я лежу и думаю, про кого это они кричат? Вскоре надо мной появилось испуганное Колино лицо. Он осторожно поднял меня с земли. Переломов не было, только ушибы и ссадины. Но на кого была похожа

романтическая всадница! Изорванная, вся в крови белая кофточка, синяки и подтеки на лице, и довершал все это хозяйство истерзанный в клочья воздушный шарфик.

Наступил день съемок. Коля должен был скакать впереди, а за ним весь полк, потом падать с лошади и лежать под копытами бегущих лошадей. Как я все это выдержала – не знаю. Коля скакал несколько дублей впереди полка, впереди вихря из лошадей и людей. Даже близко нельзя было подойти к этому единому, мощному организму конной атаки – срывало головные уборы. Все, что попадалось под копыта, вдребезги разлеталось. Но это не самое страшное... А вот когда Колю положили на землю и прогнали перед его лицом в полевом галопе лошадей... Повторить это, видимо, было трудно, потому что все эти кадры остались в фильме «Как закалялась сталь», несмотря на то что Колю Бурляева сняли с роли Павла Корчагина. Пришла разнарядка сверху, из ЦК партии: рефлексирующего героя Достоевского не снимать в главных ролях социальных героев. Утвердили Конкина. Я без Бурляева сниматься отказалась, и мы оба ушли с картины. Перед отъездом заглянули еще раз к Сергею Параджанову, Колиному другу. Двери квартиры Параджанова никогда и ни от кого не закрывались. Просто толкнешь – и входишь.

– Ох, как ты мне понравилась в «Солярисе», – говорил Параджанов, – и фильм очень, очень хорош, я его посмотрел на корабле...

Оказалось, Параджанов посмотрел «Солярис» на стареньком проекторе, заряженном узкой черно-белой пленкой, что не помешало впечатлению. Коля пел под гитару свою песню, посвященную расставанию с первой женой Натальей Варлей: «Я люблю тебя всю, всю, всю, ты мое божество...». В ней был отголосок недавней трагедии, потерянной любви... Параджанов слушал Колю внимательно, даже восторженно. Гостям он непременно что-то дарил. Вот и мне он вручил полотняную гуцульскую рубашку, расшитую бисером, и домотканую юбку.

Мы уехали на съемки другой картины, в Ленинград. Там были возмущены тем, что Колю сняли с главной роли какой-то разнарядкой сверху. Но... начали снимать – и опять письмо-«указивка» из Госкино о том, что Бурляева нельзя снимать в главной роли. Позже мы узнали, что в эту же группу «рефлексирующих» актеров попали Ролан Быков, Инна Чурикова, Станислав Любшин и еще кто-то. В общем, я опять вслед за Колей ушла с картины. На последние гроши мы отправились к Колиным знакомым в Кизи, жили в простом деревянном доме, ели простую кашу, много думали, мечтали, переплывали в лодке с острова на остров и читали вслух «Фауста» Гёте.

Беспокоили нас только крысы. Выходя ночью из своих нор, они бегали по нашему земляному полу. Тогда я брала керосиновую лампу и, наклонясь над норой, приказывала «Крыс, выходи». Но они были трусливее меня и не появлялись.

Каждый из нас вел свой дневник. Однажды, описывая очередной день, Коля внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Знаешь, на кого ты сейчас похожа?

– На кого?

– На Христа!

– На распятого? – улыбнулась я.

– На живого, – буркнул он.

Мы много говорили о творчестве, и Коля любил повторять: «Я хочу подставить тебе свои крылья, и мы вместе будем летать».

Из дневника

5 августа 1972 г.

Я верю этому хрупкому, нежному детскому лицу, этим мудрым, светлым и печальным глазам, этой незащищенной светлой душе.

Как бережно и откровенно вывел меня мой Николушка из тупика страданий, сделавшихся привычкой. Бережно мы начинаем постигать глубину наших отношений, необычность и схожесть наших отдельных жизней, в стремлении к Богу и Истине, к прорыву через наше временное пребывание здесь, на земле, к бесконечности. Мы живем в почти библейски простом жилище, где все просто и натурально – земляной пол, дощатая кровать, простой деревенский стол и скамейки. Пять дней из этого кровавого года, где было больно и хотелось страдать. Я не видела ничего впереди, кроме страдания, а радость и счастье казались невозможными и даже кощунственно ненужными. И вот она – гармония счастья. То, что даже не грезилось, дано мне и будет со мною всегда, пусть только в прошлом.

Все здесь просто и искренне. Люди, с которыми легко общаться и так же легко не общаться. 3 августа Коле исполнилось 26 лет. Его день рождения мы провели тихо, спокойно, как все дни здесь.

Электричества у нас нет. Вечером светит коптилка или свеча. Когда мы ее зажигаем, на бревенчатых стенах появляются наши тени.

Просыпаемся от криков чаек.

Я знаю, нам уготована жизнь непростая и всего будет много, но даже за эти прекрасные счастливые дни я не буду жалеть о покинутом мною скупом мире, дающем так мало душе. У меня еще будет время оценить прошлое, а пока я хочу жить настоящим.

...Они с порожка бани ярой
В Онегу кувыркались парой
И плавали на острова,
Где гнулась сочная трава...

7 августа

Эти Колины стихи появились потом, по воспоминаниям. А вот мои, не прочитанные ему тогда:

Онега дышит влажным сном,
Расправив воды под луной.
Уснул на острове наш дом,
Природой царствует покой.

5 августа 1972 года

Записываю эти воспоминания 8 августа 2004 года. Как будто почувствовав это, Николай позвонил мне из Болгарии, спросил, как там Маша и Ваня, наши дети.

– Машенька с подругами в Турции...

– Да, я знаю, Ваня с Юлей в Египте, – отдыхают дети. А ты?

– Я тоже отдыхаю, на даче.

– Ну, пока! Здоровья всем вам!

Вот так, почувствовал на расстоянии, что о нем, о нас вспоминаю? А сыну нашему, Ванюше Бурляеву, уже 27 лет. Мы с Николаем были примерно его ровесники, когда встретили друг друга. Припомнились его стихи той поры:

...Сгорело лето,
В лесу так тихо.
Бредем тропой.
Немного солнца.
Вороны... Ветер...
Да мы с тобою.
Вечерний вызвезд
Пленён до срока
Голубизною.
Вдыхаю запах
Смолы и хвои
С твоих ладоней.

...Вернулись домой в совершенно пустую Колину квартиру в Нагатине. В Москве горел торф, из-за дыма порой нельзя было разглядеть друг друга на улице. После кристальной чистоты Онежского озера и Кижей нам это казалось чудовищным. А люди ничего не замечали. Адольф Гуревич, начальник актерского отдела «Мосфильма», за то, что я посмела уйти с двух картин, лишил меня зарплаты. Денег осталось 20 рублей. Моя мама Колю еще не признавала, ведь я оставила первого мужа, так что жить стало не на что.

В то время когда наши с Колей фильмы шли во всем мире, завоевывали призы на международных фестивалях, собирая валюту, на которую госкиношные сынки ездили в Африку охотиться на львов, герои «Соляриса» и «Рублева» должны были жить в пустой квартире без крошки хлеба. Но тут – помощь сверху, подтверждающая необыкновенную притягательную силу Коли Бурляева. Он где-то познакомился с монахом, тот, видимо, почувствовал, что Коля нуждается. И помог. Не только деньгами. Он подарил ему крест – необычный, старинный золотой крест. Вот так мы и продержались. И надумали снова пойти учиться вместе – теперь уже режиссуре. Двадцать рублей стипендии, а мне даже сорок – училась на «отлично» – нам хватало. Да еще были подарки Госкино в виде зарубежных поездок: у меня – с «Солярисом», у Коли – с «Игроком».

В то время что есть деньги, что их нет – переживалось не так остро. У всех были обеспеченные государством жилье, лечение, образование. Займи у соседа 10–20 рублей и живи. Денег у всех было мало, вещей и того меньше, но жили как-то без страха за завтрашний день.

Может быть, социализм больше напоминал несколько искаженную христианскую общину, где все было общее и ничье. Но раз ничье, значит, и не твое, что вело к безответственности. Для истинной общины необходима духовная и душевная зрелость общества... А когда она будет?

Если мы с Колей и не были явными диссидентами, то варились именно в этой среде. Мы читали запрещенные книги: Мандельштама, Набокова, Цветаеву, «Доктора Живаго» Пастернака. Мы пели запрещенные песни, с удовольствием слушали нашего Галича-Нелегалича и ходили на Таганку.

Феллини и Тарковский

«Солярис» закупили многие страны. Премьера была и в Италии. Тарковский любил Италию. «Они – как наши. – Это была высшая оценка итальянцам. – И у них душа нараспашку». В Риме мы пошли на просмотр новой картины Федерико Феллини «Амаркорд». Мы сидели в небольшом полупустом зале, где показывали удивительно земной шедевр Феллини. Тарковский смеялся, иногда восхищенно восклицал или бурно возражал, словно сам создал эту картину и теперь пытается ее подправить. «Вот так никогда не режь кадр», – неожиданно сказал он мне. По этой реплике я поняла, что Тарковский знает, что я учусь на режиссерском факультете. «Он режет сам себя», – громко возмущался Тарковский, вызывая удивленные взгляды итальянских зрителей. Но фильм ему очень понравился. Через день Федерико Феллини пригласил нас к себе в офис. Он принял Тарковского тепло, по-братски. Весело рассказывал нам о своих новых замыслах, связанных с фильмом «Казанова».

– Я смотрел твой фильм, Андрей, не весь, конечно, он очень длинный, но то, что я видел, это гениально, – сказал Феллини.

– Длинный фильм? – возмутился Тарковский. – А у тебя что – много коротких фильмов? А я смотрел их все до конца!

– Не переживай, я знаю: ты и я, мы – гении! – улыбнулся Феллини. – Вы, русские, вообще гениальный народ. Как вы ухитряетесь снимать свои фильмы? О чем? У вас же ни о чем нельзя снимать! Я бы не снял у вас ни одной своей картины, потому что все мои картины о проститутках.

– А почему ты перестал занимать в своих картинах профессиональных актеров? – поинтересовался Тарковский.

– Дорого, – ответил маэстро, – и потом, я не знаю, как у вас, но у нас «звезды», заключающие контракт, могут диктовать, что и как снимать режиссеру. И даже сколько должно быть в картине крупных планов.

– Да, вы, итальянцы, гениальный народ, я бы так не смог, – парировал Тарковский.

– И я не смог, поэтому и снимаю вместо актеров... – Феллини протянул Андрею Арсеньевичу кипу фотографий, отобранных для «Казановы», – удивительные типажи. – Они ведь у меня даже текст не говорят, – улыбнулся Феллини, – я их прошу считать: раз, два, три... а потом, во время тонировки, подкладываю любой текст, какой мне нужно. Трудно сейчас снимать фильмы, – неожиданно сказал он, – денег нет, прокатчики горят на моих фильмах; трудно, брат, но мы с тобой, конечно, – гении...

Вечером Феллини пригласил нас в ресторан. К нашему столу приблизилась полная шестидесятилетняя женщина.

– Ну что, опять привел гостей, Федерико? – неожиданно фамильярно обратилась она к мастеру. – Ну, а сам что будешь есть?

– Ой, будто ты не знаешь, кашу, конечно, мою кашу, – ответил Феллини.

– Так я и думала, – произнесла женщина и царственно удалилась.

– Когда-то, в юности, я был так беден, что у меня часто не хватало денег расплатиться даже за обед, – рассказал нам Феллини, – и Тереза кормила меня. С тех пор я стал известным режиссером, а она – владелицей одного из лучших ресторанов в Риме, но мы по-прежнему играем в эту игру: я – нищий Федерико, а она – моя благодетельница.

– Отличный, добрый, умный мужик, – отозвался Тарковский о Феллини, когда мы с ним попрощались. – И картины у него такие же, как и он сам.

Сорренто

Вид ночного Неаполя с самолета поразителен. Город кажется хрустальным из-за обилия огоньков и огней. В самолете меня усадили с отцом. Впервые летим вместе. Говорили о невозможности снимать в наше время честную картину о современности.

– Даже для тебя это невозможно? – спросила я.

– Для меня особенно...

– Но почему? Тебя все уважают, ценят.

Сергей Федорович иронично улыбнулся:

– И ненавидят, пока тихо...

К нам подошел Тарковский с вином, предложил выпить. Я отказалась. Улучив мгновение, Андрей наклонился и прошептал:

– Не защищайся, все хорошо...

Из дневника

22 сентября 1972 г., пятница

Утром проснулась от шума. Спала плохо, во сне видела Андрея, гостиницу во Франции.

Проснулась с ощущением летнего дождя.

В Италии поразительно высокое небо. Приехали в Помпеи. Музей в Помпеях уникален. Окаменевшие останки мгновенно погибших от извержения Везувия людей. Одна единая фигура так и застыла, сжав горло. Влюбленная пара, застигнутая стихией.

23 сентября, суббота

Первый официальный день фестиваля. Когда еще будешь в такой компании: Росточки, Смоктуновский, Тарковский, Бондарчук, Герасимов, Шукшин с женой, Храбровицкий, Голубкина, Вия Артмане, Озеров, Сизов, Гайдай, Ильенко, Володина, Банионис и еще многие-многие артисты и режиссеры! Но чувствую себя почти одиноко, нет моего Никушки. Италия меня покорила. Ароматный воздух, пение птиц, лошади, украшенные от хвоста до ушей. Сорренто – в чаше гор, и только с одной стороны – Средиземное море. От французского курорта отличается улочками, полными простого люда, и почти цыганской жизнью. Наш фестиваль бойкотируют и правые, и левые, хотя внешне все прилично. Изредка звонят колокола, но их заглушает рев машин.

И вот, наконец, вся наша артистическая громада двинулась по улицам Сорренто. Импульсивные итальянцы кричали «браво», мне кричали «тре бель». Вошли в фестиваль-ный зал, везде репортеры.

24 сентября

Узнали о смерти Бориса Ливанова. Рак и глубокий инфаркт. Бедный Вася, сейчас с ним Николай, он поддержит друга в тяжелый момент. Вспомнились Колины слова: «Вместе с этим человеком уходит целая эпоха». Андрей Тарковский специально на моих глазах отчаянно ухаживает за Г. и при этом кидает на меня пристальные взоры, наконец, он не выдержал и во время обеда пригласил меня за их столик, стоявший совсем рядом с нашим. Я отказалась. Тогда он встал, подошел ко мне, взял мою сумочку, чтобы перенести ее на другое место, но я отказалась с ним идти, он от растерянности уронил сумку, и тогда состоялся наш диалог.

– Не суетись, Андрей...

Он сел на свое место и, глядя на меня, произнес:

– Это самый грустный день в моей жизни...

Я показала ему глазами на Г. и ответила:

– Не думаю. Уж если говорить правду, то всегда...

– Я тебя обожаю и всегда защищаю...

К нашему разговору невольно подключились Г. и И. Они тоже предлагали мне сесть за их столик.

– Она не хочет... – обиженно протянул Андрей.

Принесли бульон, я еле отхлебнула несколько ложек, сжало горло, почувствовала подступающие слезы и, не выдержав, встала и ушла под возглас Андрея:

– Куда ты, Наташа?

Быстро шла по улице неведомо куда, догнал наш переводчик, стукач, но очень хороший человек, он не стал ни о чем меня расспрашивать, просто предложил поездку в Солерно, к нам присоединился и Иннокентий Михайлович Смоктуновский.

Италия стала меня исцелять. Повсюду фруктовые сады с апельсинами, лимонами, черным виноградом. Впервые увидела громадные кактусы. Дорога крутая и очень опасная в горах. Остановились у мраморной статуи Мадонны, она повернута лицом к морю. На лице кротость, невинность, пьедестал покрыт кусочками фаты. Это девушки, выходя замуж, благодарят свою покровительницу за женихов. Внизу отвесные скалы и иссиня-синее Средиземное море. Справа виден Крит. А наверху уже собирались дымчатые тучи, поднимаясь до горных вершин, и от этого горы казались беспрельдно высокими. Такие горы у Данте – пугающие и великолепные.

Следующая наша остановка в городке Молено. Мы прошли в собор – главную достопримечательность города. Везде скульптурные изображения святых и мучеников, правда, скверно сделанные, из гипса или воска, в рост человека и в настоящих одеждах, лица их кажутся жестокими и пахнут инквизицией. Всё это несколько чуждо православной душе. Картины и роспись много лучше, очень хороша «Тайная вечеря». Внизу первоначальная церковь. В центре небольшого помещения – великолепная статуя святого Андрея, выполненная учениками Микеланджело. На глубине двух метров, как сказал нам священник, похоронен Святой Андрей. И все это XIII век. Вышли из темноты собора, и опять – юг, солнце.

Выбрали местечко около пристани, сели за столик. С Иннокентием Михайловичем очень интересно и весело. Шутили, говорили об искусстве, о дневниках. Здесь же, в моем дневнике, он написал пушкинские строки, знакомые по передаче «Очевидное-невероятное». Смоктуновский возмущался, что последних, самых замечательных, строк нет, а все потому, что избегают слова «Бог».

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещения дух,
И опыт – сын ошибок трудных,
И гений – парадоксов друг,
И случай – Бог-изобретатель.

«Как все это можно было втиснуть в три последние строки – мудрость, боль и надежду человечества в продолжительности всего его существования!!!» – приписал от себя Иннокентий Михайлович.

И снова дорога. Море и небо на горизонте слились, и от этого пространство ушло в бесконечность, все дышало ароматом цветов и плодов. Дома лепились в скалах, как осинные гнезда, каждый клочок земли использован и ухожен. Мимо проносятся огромные, нависшие

над пропастью, мосты, застывшие в скалах храмы. Наш водитель напевает неаполитанские песни.

Солерно встретил нас дождем. Нашли турецкую кофейню. Сели за столик. Нам подали в каменных белых чашечках капельку коричневой жидкости – и все. Мы разочарованно посмотрели на странную по советским меркам порцию кофе, но, когда мы сделали глоток, наши сердца чуть не выскочили из груди. Это был настоящий кофе! Турецкий!

Иннокентий Михайлович неожиданно стал говорить о «Солярисе», об Андрее... Рассказал, что ему первому была предложена роль Рублева, но он отказался: «Ведь предлагал-то совсем неизвестный режиссер, и я... Простить себе этого не могу, отказался, а если бы снимался у него, то и в “Солярисе” вместо Баниониса играл бы». Я улыбнулась этому предположению. Конечно, для меня Смоктуновский – гениальный актер, но когда сидишь рядом и пьешь с ним кофе в Солерно, об этом забываешь. Возвращались под проливной дождь и полыхание молний. В ночи увидели над высокой горой сверкающий крест. Сегодня я действительно была в Италии.

Ты поешь о себе,
Италия —
В звуках света и шуме морском,
Где слагаются сами предания
О великом бессмертье твоём.
В скалах выются седые туманы,
И топорщатся кактусы рук.
Каждый камень – причина обвала,
Древность мира – и Дантовский круг.

25 сентября, понедельник

Утром встала пораньше, чтобы купить подарок отцу. Сегодня у него день рождения. Купила красивую табакерку с музыкой из фильма «Доктор Живаго».

Днем вся делегация отправилась на остров Капри. На острове были возложены цветы к единственному в Европе памятнику Ленина, кстати, совершенно на него не похожему. Втихаря мне рассказали такую байку.

Когда Ильич посетил Горького, тот все подстроил, как будто его берут жандармы под арест, конечно, это была шутка, но Ильичу она очень не понравилась, он был злопамятен и в свою очередь сослал Горького на Капри. Отель, где Горький встречался с Лениным, сохранился.

Возвращались в плохую погоду, дул сильный ветер, и я простыла. Андрей сидел один, очень грустный и постаревший. Вернувшись в отель, отправила открытку Никушке. Вечером – ужин в честь отца. Я первая ему вручила подарок. За столом сидели Люся Савельева, Герасимов, Сизов, Ирина Константиновна, Гайдай и я.

Сергей Апполинариевич предложил тост за династию Бондарчуков, Гайдай весело поддержал. Много говорили, под конец я предложила тост «за одного из самых близких нам людей», нашего дорогого учителя Сергея Апполинариевича Герасимова. Учитель был растроган. Тепло попрощалась с отцом, он обещал меня найти после конференции. Только зашла в свой номер – стук в дверь и передо мной моя мамочка, она только что приехала на фестиваль, в ее команде Шукшин, Хуциев и многие другие. Проводила ее до их гостиницы.

26 сентября

Утром сообразила. Уникальный момент: здесь в Италии мы все – мама, отец, Герасимов, Тарковский. Я по-прежнему немного простужена. Отец повел меня лечиться и напоил

какой-то крепкой наливкой с полынью. Вечером ко мне в номер явилась вся мамина группа – Хуциев, Шукшин, Гурченко, Лида Шукшина и еще актеры, набралось человек десять. Заказала в номер вина, фруктов. Василий Макарович хандрил, сразу начал тосковать по Родине. Видно было, неумогу ему эта заграничная жизнь. Мамочка осталась у меня ночевать.

28 сентября

Путешествие в Неаполь.

Привезли нас к Везувия. Последнее извержение было в 1945 году. Вышли из автобуса, жуткий холод, ветер. На вершину нужно подниматься пешком, многие остались в автобусе, я, конечно, несмотря на простуду, потащилась. Ветер чуть ли не сносил нас вниз, тропинка крутая, в мои босоножки набились острые камни и ранили ноги, поднимались долго и мучительно. Наконец мы на вершине, перед нами гигантский кратер вулкана, а с боков – я так и не поняла – то ли пыль от ветра, то ли дымок.

Зрелище необыкновенное, величественное и страшноватое. А внизу простирался Неаполь. Обратно спускаться было еще труднее и холоднее. Помощь пришла неожиданно. Один из наших провожатых, переводчик, завернул меня в свой плащ и буквально стащил вниз. Неожиданно он сказал: «Ветер, не дуй, ребенка простудишь». А между прочим, ребенку уже двадцать два года!

Внизу, в портовом ресторанчике, подарила моему Сергею Апполинариевичу кусочек лавы с Везувия. Он был очень рад. Как тепло, когда рядом Учитель. Везде иллюминация, празднуется день Святого Михаила. Фонарики, цветы, ангелы с трубами, карусели, веселые базары игрушек – мир Феллини и Антониони. Осталось всего три дня в Италии, а кажется – уехала давным-давно, там мой родной мир, по которому я тоскую.

29 сентября

Дала интервью итальянскому телевидению, говорила об отце, Герасимове и Тарковском. «Их объединяет интерес к жизни человеческого духа», – может быть, наивно пыталась я объединить трех таких разных художников.

В «Найтклубе» был дан в честь нашей делегации неплохой концерт неаполитанских песен и танцев. Было весело. Я танцевала тарантеллу и веселилась как могла.

Вечером собрались на «Рублева». Перед началом фильма нас с Андреем Арсеньевичем должен был представлять Юрий Ильенко. Почему-то в последний момент переменили время показа фильма, и к началу никто не пришел. Андрей страшно разволновался и решил уйти, я попросила его остаться, он улыбнулся. «Я оставлю вместо себя какого-нибудь мужчину». И ушел в бар. Ильенко и я тоже ушли к нему в бар, вместе пытались, как могли, его приободрить. Ровно через час, как и было объявлено ранее, набралось много зрителей. Пустили картину, так нас и не представив на сцене. Посмотрев две части, мы уехали в гостиницу, но к концу фильма за нами прислали машину, и мы вновь поехали в кинотеатр. Ждали финала за дверью в коридоре. Я спросила Андрея:

– Угадай, какая сцена сейчас идет?

Из-за дверей доносились всхлипы...

– Ну, и какая? – переспросил меня Андрей.

– Сейчас там Коля плачет... – ответила я и приоткрыла дверь.

На экране Рублев – Анатолий Солоницын, – обнимал мальчишку, колокольных дел мастера, – Николая Бурляева.

– Верно чувствуешь! – отметил Андрей.

Фильм окончился под бурные аплодисменты. Мы с Тарковским вышли на сцену. Ильенко представил нас зрителям.

Вечером ко мне в номер пришел Андрей.

– Завтра премьера «Соляриса»...

– Да. Я знаю.

Андрей уселся в кресло, стал крутить свой ус и быстро говорить:

– Ты дурочка, я не... не мог бы не прийти к тебе... Знаешь, я чувствую, как будто я тебя родил, нет, не как актрису, а как человека...

Неожиданно он уткнулся мне в руку и поцеловал. Я погладила его по волосам.

– Твоя мама так на меня смотрит... – неожиданно сказал он.

– Она считает, что ты разрушил мою жизнь с мужем, – вздохнула я.

– А разве это не так?..

– Нет, не так... Я сама ушла от него, и сейчас...

– Что сейчас?

– Сейчас все другое... Я очень рано потеряла связь с моим отцом.

– Да, я помню, знаю...

– И ты для меня был всем...

– Был?

– Я начала страдать синдромом Хари, я должна была тебя все время видеть или слышать...

– Я не мог...

– Я знаю... Я никогда с тобой не расстанусь, я научилась быть без тебя, но с тобой... я уже человек... – попыталась я пошутить. – Скоро придет мама...

Андрей вскочил.

– Да, да, и я все время с тобой...

– Спокойной ночи...

Андрей тотчас вышел и не закрыл за собой дверь. Конечно, то, что мама сейчас придет, я сочинила.

30 сентября

Все разъехались, кроме меня, Тарковского, Баниониса и Вии Артмане. К началу «Соляриса» опоздали, пришли, когда начался сеанс. Пошли, по моему предложению, в храм. Донатас стал молиться, стоя на коленях, при нашем стукаче-переводчике. Андрей сидел на скамье и о чем-то думал.

Медленно прошлись в последний раз по Сорренто.

В отеле я помогла Андрею собрать его чемодан – он самый непрактичный в мире человек. Заключительная часть фестиваля проходила в королевском театре в Неаполе. Вручались красивые призы всем участникам, одновременно велась трансляция по телевидению. После церемонии нас отвезли в королевский дворец на прием.

1 октября

Мы в Риме. Приехали в Ватикан. Это самостоятельное государство в два квадратных километра и с двумя тысячами жителей. Посетили знаменитый собор Петра и Павла. Была воскресная служба, играл орган необыкновенной мощи и красоты. Величие духа во всем: в скульптуре, живописи, архитектуре. Великолепное пение, служба с кардиналом.

Рим прекрасен, и в нем так чувствуются время и история, что становится как-то не по себе.

Проезжали мимо фонтана Треви из фильма «Сладкая жизнь». Улицы Феллини и Антониони. Остановились у Колизея развалины древнего театра, в которых сейчас живут кошки. Рим стар и мудр.

2 октября

С утра поехала в аэропорт. В самолете сидела вместе с Иннокентием Михайловичем, который меня смешил всю дорогу. Андрей посматривал в нашу сторону, но был печален.

В аэропорту меня встречал мой брат Андрюша Малюков. В последний раз оглянулась и встретила глазами с Андреем. Он стоял в углу с Ларисой и Машей Чугуновой. Кивнул мне, чуть улыбнувшись, и все.

Дома бабушка встречала меня и маму. Вскоре приехал Николай. Боже, как мы радовались друг другу. Он рассказал мне, что сдал коллоквиум во ВГИКе, писал стихи. «Ты не представляешь себе, как у нас все будет хорошо, прекрасно».

18 ноября

Приехала в Нагатино одна. Коля в Праге. Стала убираться, и на меня неожиданно свалился Колин дневник. Не удержалась – прочла несколько страниц. До нашей встречи много поверхностного, насмешливого, даже пошлого. И только первой жене и мне – строки прекрасные и чистые. Склонность с малолетства к богемной жизни, вино, любовь к успеху, некоторое самодовольство и самовосхваление... Будет трудно. Но счастье, каким я ему уже обязана, и наше будущее в наших руках. Я тоже не сахар, и мои грехи тяжелы и давят. Будем вместе бороться за счастье, чтобы не поглотила нас эта «общелягушачья икра», грязь внешнего мира.

Мы склонны к добру и надеемся творить добро. Мы признаем прекрасное и стараемся быть честными. Думаю, я старше его по страданию и вижу немного дальше, но не настолько, чтобы предсказывать будущее. Будущее должно быть в творчестве, в наших детях, в нас, лучших, чем мы есть сейчас, в нас, мудрых и просветленных, в нас верующих и верящих.

Если в любой момент нашей жизни, в любом деле мы испытываем момент творчества, то это и есть счастье. Полное соединение – творческое. Оно рождает в нас и нашей жизни это обновление и приносит радость и счастье.

Спаси меня, Боже,
Спаси, сохрани...
И в лютую стужу
Мне дверь отвори.
Всё в соли от слез,
Всё от крови черно,
Агония чувств —
И смерти зерно.
Возьми мою душу
И вновь сотвори,
И чистой водою ее окрести.
Покрой меня светом
В покое любви
И звездную мглу
Только мне подари.

5 января 1974 г.

Первый фильм

Уже через два года мы с Колей закончили ВГИК, режиссерский факультет, и начали снимать дипломную работу по Салтыкову-Щедрину – «Пошехонская старина».

Эта книга была настольной в нашем доме. И часто у нас можно было услышать фразы типа: «Маменька, для какого декольте сегодня шею мыть – для малого али для большого?»

Мы выбрали три сюжета из книги. Я стала снимать «Бессчастную Матрену», Коля – новеллу «Ванька-Каин», а Игорь Хуциев – «Братец Федос».

Ректор ВГИКа Ждан не подписывал нам сценарий для дипломов, боясь ответственности, ведь была еще актуальна фраза: «Нам нужны... Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали». Сатира опасна любому режиму, она всегда актуальна и вызывает так называемые неконтролируемые ассоциации. То есть: над чем раньше смеялись, то и ныне смешно, несмотря на Великую Октябрьскую революцию.

Мы так и начали снимать свои дипломы без визы ректора. Помогли нам наши мастера и еще – добрая ему память – директор студии «Мосфильм» Николай Сизов. А еще удивительный чуткий режиссер и художественный руководитель объединения, где мы снимали наши дипломные работы, – Лев Арнштам.

Из дневника режиссера

К началу съемочного периода в одном из мосфильмовских павильонов возник двухэтажный барский дом с маленьким двориком и конюшней.

Сам дом должен был стать символом крепостного права, символом власти над душами и телами людей. Помню свое первое впечатление, когда я вошла в декорацию. Вошла в девичью, в которой предстояло мне прожить короткую трагичную жизнь моей героини – крепостной Матрены – и ощутила тяжесть этих стен, их безысходную угрюмость и жестокость.

Ипполит Николаевич Новодережкин, главный художник картины, сумел создать для нашего диплома главное – атмосферу, в которой должно было возникнуть действие.

Ипполит Николаевич вместе с Александром Толкачевым доводили каждый объект собственноручно, старили дерево, приклеивали плесень и паутину, творя атмосферу дома на каждом сантиметре пространства.

Я благодарна судьбе, подарившей мне время работы с Ипполитом Николаевичем Новодережкиным, ставшим в моей жизни примером истинного мастера, творящим искусство не только своими руками, но и душой. Так искусство становится жизнью.

В нашей дипломной работе согласились сниматься замечательные актеры: Лев Дуров, Светлана Крючкова, Инна Макарова, в последней своей роли снимался Эраст Павлович Гарин.

Все три диплома: мой, Игоря Хуциева и Николая Бурляева, – составившие единую картину, получили высокую оценку на VI кинофестивале «Мосфильма» молодых кинематографистов и были признаны лучшим режиссерским дебютом. А фильм «Ванька-Каин» Николая Бурляева получил премию за режиссуру на XXIII фестивале в Оберхаузене (ФРГ). «Пошехонская старина», по сути, – роман автобиографический, и фильм был высоко оценен на родине Салтыкова-Щедрина. Наша работа и поныне является единственной кинобиографией великого писателя.

Я рада, что в ней принимал участие и мой отец, Сергей Федорович Бондарчук, он озвучил слова Щедрина, с особым чувством читая последние слова великого писателя: «Я люблю Россию до боли сердечной и желал бы видеть мое отечество счастливым».

Из дневника матери

13 сентября 1976 года у нас с Николаем Бурляевым родился сын Иван. Что такое рождение ребенка в творческой семье? Это нужно пережить. Оба мы были поглощены чудом, которым является младенец. Ваня стал плавать в ванной с девятого дня от рождения. Находился в воде по девять часов. Профессор Аршавский утверждал, что мы прекрасно скорректировали ребенка после родовой травмы и по сути его спасли. К счастью, до появления своего малыша я отправила в такое же первое плавание племянника Кирилла, сына Андрея Малюкова. И вот теперь с неутомимым помощником Чарковским (который в свое время водой спас своего ребенка) мы тренировали свое чадо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.